

Не кормите и не трогайте пеликанов

Автор:

Андрей Аствацатуров

Не кормите и не трогайте пеликанов

Андрей Алексеевич Аствацатуров

Интеллигент Аствацатуров

В новом романе Андрея Аствацатурова всё тот же герой. Городской невротик, преподаватель литературы, не слишком удачливый в любви, уже знакомый нам по книгам “Люди в голом”, “Скунскамера” и “Осень в карманах”, приезжает в Лондон, где его втягивают в комичную детективную интригу.

“Мир абсурден, странен, иррационален, анекдотичен, как и существа, его населяющие. Все мы – немного пеликаны, красивые в полете наших фантазий, и смешные на земле” (Андрей Аствацатуров).

Книга содержит нецензурную брань.

Андрей Аствацатуров

Не кормите и не трогайте пеликанов

© Аствацатуров А. А.

© Бондаренко А. Л., художественное оформление

© Ожиганова Е. А., фото

* * *

Моим дорогим друзьям: Герману Садулаеву и Михаилу Елизарову

Автор выражает глубокую признательность Любе Шведовой, Валерию Айрапетяну, Анастасии Белик, Ольге Войцеховской, Стефании Чикановой, Галине Антонец, Вере Аствацатуровой и Анатолию Поливка за помощь и ценные советы

Глава 1. Сент-Джеймский парк

– Здесь, наверное, красиво, – произносит Катя и тянется ко мне губами. В ее голосе я различаю тревогу. Всю дорогу от метро “Чаринг-Кросс” она молчала. – И ветра нет. А ты, кстати, молодец.

Интересно, а почему я сейчас “молодец”? Потому что привел ее сюда, где “наверное, красиво” и “нет ветра”, или все-таки потому, что с утра позанимался с ней любовью? Лучше не уточнять. Себе дороже. Еще психанет, разорется, как обычно. Я отвечаю коротким поцелуем.

Мы познакомились в Париже пять, а может, шесть лет назад, я точно не помню, за эти годы произошло так много всего... Она прилетела из Москвы в Париж на неделю спеть в каком-то закрытом местном клубе для русских богачей. А я оказался там случайно – приехал на культурный форум делать доклад с философом-постмодернистом Погребняком. Еще из знакомых там был наш друг, художник Лёня Гвоздев.

Помню, мы вчетвером страшно напились в ресторане, в Клиши, и Гвоздев все бубнил, что хочет прямо сейчас написать Катю голой, верхом на пятиглавом змии.

– Ты, дурак, жену свою сначала нарисуй... – смеялась Катя.

Гвоздев в ответ только морщился.

– Материала там, Катюха, мало, материала... – повторял он поплывшим голосом. – Пойми ты! Мне материал нужен...

Несколько минут назад мы свернули с Уайтхолла, быстро прошли под арку, мимо королевских гвардейцев, парадно гарцующих в своих красных мундирах, мимо понурых хасидов, задумавшихся возле лотка с уцененными сувенирами, мимо двух панков, кажется, разнополых, разукрашенных по моде восьмидесятых, потом пересекли пустой плац, по которому потерянно, как бездомные собаки, бродили тощие туристы-азиаты, и, наконец, зайдя в парк, встали у огромной зеленой карты.

– Главное сейчас – чтобы дождь не начался, – глубокомысленно говорю я и сразу чувствую неловкость. – Все-таки, знаешь, зима.

– Не начнется, – улыбается Катя и показывает на карту: – Смотри, вот мы где.

Она прижимается ко мне, и я уже в который раз чувствую под этим красным коротким пальто, по парижской моде ловко перехваченным узким поясом, тяжесть ее теплого, сильного тела.

Узкая асфальтированная дорожка, вся в каменной крошке, аккуратно огибает нагромождение клумб и выводит нас к вытянутому водоему. Берега огорожены металлическим заборчиком, вода мутная, чуть зеленоватого цвета. Прямо посреди водоема взлетает вверх фонтан – ветер в разные стороны разносит капли, брызгая на птиц, пригревшихся у берега. А тут и в самом деле очень красиво.

– Слушай, а как этот парк называется?

– Сент-Джеймский...

– Ну, да... точно... А раньше что тут было? Давай присядем, люблю смотреть на воду.

Катя тянет меня к деревянной скамейке.

– Раньше? Катя, пусти, – я пытаюсь сосредоточиться. – Раньше тут вроде был канал, длинный канал, очень длинный. Вот...

Мы садимся на скамейку, начинаем разглядывать воду, подернутую рябью, низкое небо, затянутое облаками, и Катя достает сигареты.

– А до этого, – я возвращаюсь к разговору, – тут были болота и текла река. Тайгерн или Тайберн, кажется... Я не помню точно. Убери, пожалуйста, сигареты. Здесь нельзя...

– Оки.

Надо же. С первого раза послушалась. Что это с ней вдруг? Обычно она говорит в таких случаях “а мне похер” или “мне можно”. Странно. Сидит, задумалась о чем-то, меня не слушает. Ладно, пусть сидит... А то очнется – раскричится, нахамит, потом через секунду целоваться полезет... Какая-то тревога в ней поселилась, как только мы сюда вошли. И парик этот... Зачем ей парик? Но ничего, черный такой, смотрится хорошо с ее красным пальто...

Ровно неделю назад в моей квартире среди ночи раздался звонок. Громкий и резкий. Ночью все звуки кажутся громкими и резкими, а телефонные звонки – особенно. Я вскочил с постели как ошпаренный и схватил трубку: ночные звонки обычно не предвещают ничего хорошего.

– Это ты? – в трубке я услышал Катин голос. Громкий и резкий.

– Да, – я попытался спросонья сосредоточиться. – Катя, ты это... знаешь хоть, который сейчас час?

– Значит, так, – сказала она, проигнорировав мой вопрос. – Послезавтра летишь в Лондон. Понял? Раньше меня там будешь, понял? Я прилечу позже, из Парижа...

Откровенно говоря, я еще не проснулся окончательно и ничего не мог понять. Какой Лондон? Зачем? У меня и денег-то нет ни на какие лондоны.

– Как это “в Лондон”?

– Милый, ну как в Лондон обычно летают? Верхом на крыльях любви, на грифоне, а еще на бочке с порохом, когда тупят. Пожалуйста, не утомляй меня! – Последние слова она произнесла очень сердито.

Я начал понемногу соображать, стал бормотать, что это всё некстати, и еще что-то совсем маловразумительное, но она меня перебила:

– Времени нет объяснять. Летишь в Лондон – и точка!

Тут я, наконец, собрался с мыслями и сказал, что ей все-таки придется меня выслушать. Во-первых...

– Ты лучше скажи, визу ты сделал, как я тебя просила?

Визу я сделал.

– Отлично... За билетами зайдешь в турфирму на Загородном. Пиши адрес.

Я сказал, что не могу лететь, что у меня работа, статьи...

– Работа подождет! – отрезала Катя. – И статьи – тоже. Отпуск возьмешь, понял? За свой счет, или что там у вас?.. Хочешь, я позвоню твоему, как там у вас называется... декану?

Я подумал, что этого мне как раз не хватало для полного счастья – работу потерять, а вслух сказал, придав голосу равнодушие, что сам разберусь.

– Тогда пиши адрес...

Я спросил, что все-таки случилось, почему такая срочность, а сам про себя решил: это потому, что Гвоздев с ней уже поговорил. Я ведь его попросил – как

же это глупо, подумал я в тот момент, – сказать Кате при случае, ненавязчиво, если, конечно, случайно встретит ее в Париже, специально звонить не надо, что я ее люблю, что хотел бы как-то все окончательно расставить на свои места, что готов за ней куда угодно, просто сам не решаюсь... Гвоздев еще тогда сказал, что, мол, “спокуха, хрящ”, и пообещал все устроить “в лучшем виде”. Значит, подумал я, раз она позвонила, Гвоздев все-таки с ней поговорил...

– Пиши, говорю, адрес, чего ты там опять задумался? – подала в телефоне голос Катя.

Вот так я оказался в Лондоне. Все организовалось лучше некуда, почти без моего участия. За последние годы для меня стало привычным, что не надо ничего решать, что все происходит само собой, что меня куда-то берут на работу, потом увольняют, куда-то толкают, везут, тащат, уносят в салонах автомобилей, автобусов, троллейбусов, электричек, поездов дальнего следования, боингов, женят на себе, потом прогоняют безо всяких объяснений. Той ночью в темной квартире с телефоном, прижатым к уху (голые ноги отчаянно мерзли на холодном полу), я вдруг отчетливо осознал, что есть какой-то скрытый замысел в природе, в судьбе, что он не имеет отношения к моим покорным чувствам, мыслям, к моей душе, ежели таковая вдруг сыщется, но он так настойчив и никогда не оставит меня в покое.

– Катя, все хорошо?

– Все хорошо, милый. Слушай, посиди тут, а я пока – в туалет... Это ресторан, да?

Я киваю.

Она исчезает за дверью. Интересно, чем там кормят, в этом ресторане, куда она пошла. А что наливают? Лучше пока не надо. Катя терпеть не может, когда я...

Я разглядываю пруд, бывший когда-то каналом, а прежде – рекой. Впереди из воды торчит небольшой остров, похожий на зеленую шайбу. Мне приходят в голову разные мысли о том прежнем хаосе, который когда-то здесь правил. Сент-Джеймский парк давно уже похоронил этот хаос. Никаких следов той

прежней пустоши, тех комариных болот, заваленных гнилыми деревьями, той мрачной реки с раскисшими берегами, заросшими мелким, царапающим ноги кустарником. Теперь здесь уже не слышно зловещего уханья ночных сов, от которого замирало сердце. Вокруг дорожки, лужайки, трава, даже не трава, а так, травка, и мирное побрякиванье водоплавающих. Тут, говорю я себе, она стояла, та самая больница, может даже на месте ресторана. Сюда их как раз и свозили со всего Лондона, всех этих прокаженных, неприкасаемых. Их словно заживо хоронили. Обряд смерти совершали как положено.

– Тебя больше нет среди живых! – слышала Каждая. Теперь она была уже для всех не матерью, не сестрой, не дочерью, а отвратительной человеческой оболочкой, просто телом, которого с каждым днем становилось все меньше. Болезнь работала исправно, без выходных, наполняя плоть этих женщин нестерпимой болью. Корежила лицо, забиралась во внутренности, скручивала сухожилия, остервенело грызла пальцы рук и ног, носы, ушные раковины, выдавливала глаза. Иногда их жалели и кидали издали еду, как сейчас, в этом парке, ее кидают птицам, но близко к жилищам не подпускали. Оставалось лишь бродить бледной тенью, призраком в этом безвременье, между жизнью и смертью, на человеческой помойке, где стократ хуже, чем в той пропасти, куда Вседержитель низверг сатану. Зато Европа стала выглядеть лучше, гигиеничнее...

А потом все закончилось. Так же внезапно, как и началось. Болезнь ушла, прихватив последних пациентов, и король велел осушить болота. Осушили. А на месте лепрозория поставили зверинец. С верблюдом, крокодиллом и слоном. Видно, затем, чтобы показать, какой диковинной внешностью Вседержитель иной раз наделяет земных тварей. Может, она им и в наказание, как тут было раньше, но зато теперь со смехом, без погребальных шествий А LUME SPENTO и могильных стонов.

Другой король, сменивший первого, зверинец упразднил и устроил тут охотничьи уголья. Так, кажется? Гонялся, наверное, за оленями. Методично убивал их. Туши торжественно предъявлял именитым гостям. Но хаос здешних мест как-то сам собой уже шел на убыль, и вот король, восхитившийся Версалем, разбил здесь парк. Строгий, аккуратный, почти французский. И человеческий порядок наконец восторжествовал. Нынче здесь мало что напоминает о той речке с раскисшими берегами, о пустоши с комариными болотами, о страданиях, пораженных проказой. Разве что ивы, склонившие к воде спутанные ветви, как плакальщицы, да странная тревога, которая неволью

поселяется в человеке, когда он сидит и подолгу смотрит на воду.

Катя садится рядом.

- Ты как? - спрашиваю. - Все в порядке?

- Да, а что может сделаться?

Мимо нас проходит группа итальянцев. Чернявый, низкорослый гид суетится, что-то громко кричит. Его подопечные весело смеются. Мне вдруг хочется сделать Кате приятное.

- Слушай, - говорю, - тут продаются очень вкусные вафли. Прямо за углом. Огромные такие. Хочешь попробовать?

- Вафли? - Катя закатывает глаза. - Ты что, какие еще вафли? Это ж сколько калорий! Совсем сдурел?!

Катя часто бывает грубой. Сегодня она в аэропорту уже отличилась. Нахамила этому профессору. А ведь он - подлый на самом деле и найдет способ мне напакостить.

- Он же все-таки пожилой человек, - упрекнул я ее. - Давай его лучше пригласим в кафе, покормим.

- Щаз-з-з, - коротко бросила она.

Я стоял у металлической ограды вместе с другими встречающими и ждал, когда она выйдет. Самолет из Парижа уже полчаса как совершил посадку. Люди выходили группами, поодиночке, молодые, пожилые, мужчины, женщины, белые, черные, азиаты, с чемоданами, с большими сумками на плече, некоторые налегке. И у всех на лицах было одно и то же выражение. Я его всегда замечал у людей, садящихся в самолет. Выражение растерянности и одновременно сосредоточенности. Оно появляется, едва ты заходишь в аэропорт, и исчезает лишь тогда, когда, прилетев в место назначения, усаживаешься в такси. Эта сосредоточенная рассеянность рождается странным чувством, думал я, которым

аэропорт постепенно тебя заражает, прямо со стойки регистрации, где ты сдаешь багаж и получаешь заветный посадочный талон. Будто ты кому-то перепоручил свою жизнь, будто что-то для тебя уже закончилось, а новое еще не началось и неизвестно, начнется ли. А вокруг кафе, рестораны, магазины, аптеки выставляют напоказ свою продукцию, предлагая тебе ее купить и оставить здесь, на земле, лишние деньги: тебе уже, может, они и не понадобятся, как знать, а нам пригодятся. И люди покупают, отдают деньги, унося с собой память о великом городе, спрятанную в сувенирах, в бутылках с алкоголем, в склянках с парфюмерией.

Чтобы не смотреть на людей, я принялся разглядывать зал терминала. Аэропорты, как сказал один градостроитель, бывают либо слишком большие, либо слишком маленькие. Этот показался мне слишком уж большим, как квартал густонаселенного города, спрятавшегося, правда, под пластиковым сводом. Тут не было никаких тайн, все было выставлено напоказ, все было обнажено, всё, решительно всё, рейки, подвески, крепления, провода, все говорило о человеческих усилиях и о собственной рукотворности. Конструкцию свода поддерживали тянущиеся из углов длинные белые трубы, напоминавшие кошмарные паучьи лапы. Лампы распространяли странный электрический полумрак, в котором, как в паутине, копошились человеческие существа.

Я вдруг поймал себя на ощущении, что здесь, несмотря на столпотворение, как будто никого нет. Чтобы отвлечься, я начал думать о Кате, о том, как она сейчас выйдет ко мне навстречу, улыбаясь своей неприличной улыбкой, о том, как я прошепчу ей привычные бесстыжие слова, а она ответит, что скучала. Интересно, подумал я, а Гвоздев сказал ей или нет? Наверное, забыл... Псих чертов. А ведь обещал...

– Вас же просили меня не встречать! – взвизгнул возле моего уха хриплый старческий голос. Я дернулся от неожиданности и обернулся. Передо мной стоял коротконогий пожилой мужчина в синем пуховике. Позади себя он держал за ручку маленький чемоданчик на колесах.

– Что, простите? – не понял я.

– Просил же, несколько раз просил – меня не встречать! – повторил с напором мужчина.

Я подумал, это какой-то сумасшедший. Но мужчина выглядел вполне вменяемым, даже благообразным, хотя и немного комичным, со всех сторон каким-то коротким, похожим на обрубок. У него почти не было шеи, и маленькая голова казалась будто вылупившейся из туловища. Короткая седая стрижка, короткая кабанья щетина на щеках, вокруг рта, под подбородком. Короткий мясистый нос, на котором плотно сидели металлические очки. Вроде я его видел где-то.

– Я же просил! – возмущался мужчина. Он достал из кармана платок и вытер пот со лба.

– А с чего это вы взяли, что я именно вас встречаю?

И тут я вдруг понял, “с чего”. Нас когда-то познакомили, очень давно. Мне еще сказали, что он уехал из СССР в восьмидесятые и теперь работает в каком-то европейском колледже. Помню, на его доклад в Москве сбежались все наши филологи, правда, исключительно те, кто мечтал уехать за границу, – он работал экспертом в нескольких комиссиях. Фамилию этого профессора я забыл. Вспомнил только, что она звучала уменьшительно-ласкательно, как вид грызунов, и очень ему подходила. Наверное, он сюда прилетел с лекцией, увидел знакомое лицо и решил, что его встречают.

– Я же специально звонил в ваш фонд! – продолжал профессор. – Сказал, что сам доберусь.

Он спрятал платок в карман.

И тут я наконец увидел Катю. Она шла мне навстречу ровной, уверенной походкой и тянула за собой свой малиновый чемодан. На ней было красное пальто, перехваченное узким черным поясом, и почему-то черный парик. Я не успел подумать, зачем ей понадобилось надевать этот чертов парик, как профессор встрял опять:

– Вы что, меня не слышите?

– Я не вас встречаю, – ответил я сухо и нетерпеливо. – Проходите...

Тут подошла Катя.

– Привет, милый. – Она подставила щеку для поцелуя. Щека оказалась холодной. – Дай-ка я на тебя посмотрю.

– Еще раз повторяю, – вмешался профессор, – мне не нужно никаких провожатых! Езжайте по своим делам.

(“Да что ж ты никак не уйдешь-то...”)

Я прижался к ней, подумал: он сейчас все сам поймет – и тотчас же почувствовал желание. Мимо нас прошли люди, и кто-то задел меня сумкой.

– Это еще что за debil?! – Катя отстранилась и кивнула головой в сторону профессора.

(“Блин. Началось...”)

Я виновато поглядел на него, мол, извините, не могу с ней совладать, растерянно улыбнулся и развел руками.

– Что ему от тебя надо? – прищурилась Катя и, повернувшись к профессору, прикрикнула: – А ну брысь отсюда!

Тот сделал вид, что не расслышал, повернул, как пеликан, голову почти на 180 градусов, куда-то назад к чемодану, подтянул его к себе, забормотал что-то под нос. Катя тут же про него забыла.

– На?, бери, – она сунула мне ручку от чемодана. – Пойдем скорее. Я соскучилась и очень хочу.

“Так ему и надо”, – подумал я, а вслух сказал:

– Он же все-таки пожилой человек. Давай его лучше пригласим в кафе, покормим.

- Щаз-з-з, – коротко бросила она.

В парке полно людей, и мне снова, как давеча в аэропорту, кажется, что на самом деле никого вокруг нет. Хотя вот, пожалуйста, по дорожкам, аккуратно огибающим пустые газоны, движутся туристы: семят крикливой толпой низкорослые азиаты, строго вышагивают высоченные скандинавы, проходят, пританцовывая и отчаянно жестикулируя, поджарые итальянцы и испанцы, привозящие сюда, в сырой английский климат, жар Средиземноморья. Но ни с кем из них, думаю я, не столкнешься. Каждый в своей собственной, только ему отведенной геометрии. И вообще, вовсе не их и не водоплавающих, высокомерно клянчащих подачку. Я вижу пространство между ними, засасывающую мягкую пустоту. Ее здесь больше, чем всего остального.

- Пусто тут как-то, – замечает Катя.

Я молча киваю.

Сент-Джеймский парк аккуратно расстелен, как поле для гольфа. Он лежит словно женщина, раскинув во все стороны газоны, ожидая, когда мы наполним его, измерим его своими телами, когда мы окунем свои прямые взгляды в зелень травы, в мутную воду пруда. Это останется без последствий, ведь в Сент-Джеймском парке все теперь гигиенично, пространство и время вычищены, вымыты, свободны. Тут одни сплошные газоны и еще платаны, держащиеся на почтительном расстоянии друг от друга, как английские джентльмены. Глазу достается пустота и голая обозримость. Царство пустоты! Такое дано создать только тому народу, который сподобился провести тысячелетие вдали от всех, на острове, омываемом со всех четырех сторон света морями.

Французы так бы не смогли. Они бы повсюду в правильном порядке понатыкали бы клумбы и обрубки деревьев. Видно, сначала так оно и было, но потом англичане здесь все убрали. Клумбы сгребли в кучи, оттащили в углы, нагромодили одну на другую, чтобы утвердить обозримость и защитить пустоту. В самом деле, свобода не может быть уделом случая, прихоти, внезапного поворота парковой дорожки. Она здесь выстрадана, спланирована. Она здесь следствие традиций, большой игры, законов, ограждений, парковых указателей. Мы останавливаемся возле высокого столбика с зелеными стрелками, глядящими в разные стороны, на которых белыми буквами написаны

слова “Westminster Abbey”, “Buckingham Palace”, “WC”.

Запрещающих табличек совсем немного. А те, что есть, удивляют вежливой и увещательной интонацией:

PLEASE DO NOT FEED OR TOUCH PELICANS[1 - Пожалуйста, не кормите и не трогайте пеликанов (англ.).]

- Правильно, - комментирует Катя, - а то долбанут куда-нибудь - мало не покажется. О чем это ты так задумался?

- Ни о чем...

- А я, - говорит она, - знаешь, почему-то вспомнила песню из фильма “Золушка”. Помнишь? Встаньте, дети, встаньте в круг... Там она потом поет: жил на свете старый жук.

- Ну и что?

- Как что? При чем тут дети?

- В смысле?

- Ну, почему, если на свете жил какой-то старый-сраный жук, дети обязаны вставать в круг? Где тут логика? А если бы жила молодая озабоченная стрекоза? Тогда что? Или пеликан? Тогда бы в шеренгу заставили выстроиться? Так, что ли?

Я рассмеялся.

За невысоким ограждением возле воды кипит пестрая птичья жизнь. В кустах, наверное в поисках тех самых старых жуков, копошатся утки, вдоль берега ковыляют жирные гуси с оранжевыми клювами, у ограды стоят какие-то водоплавающие аляповатого вида, будто наспех раскрашенные, безо всякого

вкуса и воображения. Вездесущие голуби ведут себя скромно. Ходят, дергая маленькими головками, и дружно взлетают при малейшей тревоге. Чайки носятся в воздухе, то и дело поднимают истошные крики и принимаются драться из-за добычи. Вороны держатся поодаль, с достоинством, время от времени инспектируя длинными клювами мусорные корзины. Посреди пруда плавают два белых лебедя. Один вдруг начинает хлопать крыльями, разгоняется по воде, видно, затем, чтобы взлететь, но тут же успокаивается, складывает крылья, замирает.

– Вот так всегда! – проводив его взглядом, комментирует Катя.

Мне становится грустно оттого, что вот он, такой большой, красивый, захотел и не смог.

– Послушай, Андрюша, – она останавливается и поворачивается ко мне. – Я должна тебе кое-что сказать.

Я чувствую неприятный холодок во всем теле. В честь чего это я у нее вдруг “Андрюша”?

Катя становится передо мной и серьезно смотрит мне прямо в глаза.

– Я виделась с Лёней Гвоздевым в Париже...

– О'кей.

“Жил на свете старый жук”.

– Давай присядем.

Мы идем к деревянной скамейке. Как же тут все добротное сделано. Особенно скамейки. Толстые рейки, массивные подлокотники. Не на века, конечно, но надолго. Значит, Гвоздев с ней все-таки поговорил. Садимся.

– У нас с ним всё было, – вдруг говорит Катя.

Как обухом. Я чувствую, что мне не хватает воздуха. Оглядываюсь по сторонам.

- Что было, Катя?

- Милый... блин, всё было...

Несколько мгновений мы молчим. Понимание произнесенного приходит ко мне не сразу. В голове почему-то по-прежнему продолжает крутиться фраза "Жил на свете старый жук".

- Это все неважно теперь, - говорит она. - Витю убили... Я все хотела тебе сказать...

("Какого еще Витю? При чем тут Витя? Шлюха!")

Достаю телефон и набираю Гвоздева. ("Сука, шлюха! Шлюхой родилась, шлюхой сдохнет!")

- Ой, - морщится Катя, - ты кому это? Господи, случайно же вышло... Кому ты звонишь?

- Здорово! - в трубке бодрый голос Гвоздева.

- Ты - урод! - кричу я ему. - Сволочь! Подлец!

Проходящие мимо люди оборачиваются на мои крики. Трубку некоторое время хранит молчание. Катя сидит, плотно сжав губы; у нее на глазах слезы.

- Подлец! - повторяю я и добавляю со злым ехидством: - Поговорил, значит, в лучшем виде?

- Старик... - неуверенно начинает Гвоздев.

Катя закрывает лицо руками.

- Положи трубку... пожалуйста... - стонет она.

– Я сейчас всё тебе объясню, – говорит Гвоздев.

– Что ты мне объяснишь? Когда ты, сука, переламывался, я тебе за молоком бегал, с ложечки тебя кормил!!!

Мой взгляд вдруг упирается в табличку “please do not feed or touch pelicans”.

Гвоздев замолкает на несколько секунд.

– Я все сделал, как ты просил, – произносит он после недолгой паузы. В его голосе вдруг появляется воодушевление. – Сказал, что ты ее любишь, и всё такое... правда... Мы сидели у меня дома, бухали, и я ей, короче, это сказал. Ну а Катя, короче, разрыдалась от чувств, кинулась ко мне на шею, целовать стала... Ты же знаешь, она у тебя ого-го! Ну, короче, все и случилось... чисто по пьяни...

Я молчу.

Старый жук. Я горько усмехаюсь и чувствую, что злость куда-то уходит. Даю отбой и сую телефон в карман. Катя с выражением пойманной птицы роется в кармане пальто, достает бумажный платок и вытирает слезы.

Телефон начинает верещать. На мониторе высвечивается Gvozdev.

– Это Катя разболтала? – спрашивает голос Гвоздева. – Она рядом?

Я в ответ молчу.

– Сделай-ка громкую связь.

– Не командуй...

– Сделай, как друга прошу!

– Ладно, – я чувствую, что на самом деле больше не могу на него злиться.

- Катя! - кричит голос Гвоздева. - Ты тут?

- Тут, тут, - Катя шмыгает носом.

- Скажи ему, что это случайно, что мы, короче, не будем больше...

- Не будем, - покорно повторяет Катя, - и вообще - было не очень.

- Было не очень, - с готовностью подхватывает Гвоздев из телефона.

- Слышь, Гвоздев, - вдруг свирепеет Катя. - Ты вообще охренел?! Это мне было не очень, понятно?! Мне!!! Понятно?

Я нажимаю отмену громкой связи, выключаю у телефона питание и поднимаюсь.

Бывает, конечно, что трагедия превращается в мелодраму, тут уж ничего не поделаешь, но мелодрама не должна все-таки превращаться в балаган.

- Всё, хватит...

- погоди...

- Катя, я, наверное, пойду.

- погоди, - она решительно встает со скамейки, комкает платок и кидает его в урну.

- Ну прости, - она гладит меня по щеке.

Я аккуратно отвожу ее руку.

- Прости, - повторяет она. - Ну, хочешь, пойдём прямо сейчас в Хемпстед, в отель.

Усмехаюсь и качаю головой.

– Видишь, ты уже не сердишься. Это правда случайно... Ну прости... Ну, что мне сделать...

– Ладно, проехали.

– Ура! – Катя хлопает в ладоши. – Ой, а давай птиц покормим, а? У меня с завтрака булка осталась.

У меня нет ни малейшего желания этого делать, но я зачем-то все равно иду с ней к ограде. Навстречу нам уже спешат голуби, утки, гуси, кружат чайки. Я беру у Кати булку, разламываю ее на кусочки и начинаю бросать их через ограду. Гуси, утки, голуби кидаются в сторону от резких движений, и все достается чайкам. Они стремительно налетают откуда-то сверху, с громкими криками подхватывают куски и уносятся прочь. Рядом со мной стоит Катя в своем красном пальто, в черном парике и улыбается. Возле нее – чьи-то дети, две светловолосые девочки лет пяти-шести. У них добрые глупые лица. Все доброе, я давно уже заметил, выглядит почему-то глупым, а все глупое – добрым. Готово. Начисто расхватали. Я отряхиваю с ладоней крошки. Спасибо, друзья. Получил массу благодарности. Сверху покричали, снизу побрякали, похлопали крыльями. Даже ворон в отдалении сдержанно, но одобрительно каркнул.

Я чувствую, что все вещи и события сделались близкими, пустыми и встали вокруг меня привычным кругом, как дети из той песни про жука. Все завертелось, и эти птицы, и чьи-то глаза, и платаны, и клумбы, и газоны, и светловолосые маленькие девочки, и Катя в своем красном пальто и черном парике. Я словно проснулся от долгого сна и снова увидел плотные фигуры людей, которые будто вернулись из своих геометрий. Но их слишком мало, этих людей, хоть и много, и сад все равно кажется пустым, спокойным, забывшимся, забывшим прежние болезни и прежнюю боль. Зато мне теперь становится ясно, зачем я здесь стою с Катей, в этом парке.

– Давай сейчас погуляем, поедим твои вафли, а потом – в отель, в Хемпстед, ладно? – предлагает Катя. У нее непривычно ласковый голос. – Там поужинаем, ну и, – она мне подмигивает, – все остальное.

Мы идем по дорожке вдоль газонов в сторону королевского дворца, и вдруг меня осеняет:

- Как это - в Хемпстед? Мы же...

- Милый, пока ты курил на улице, я попросила перевезти наши вещи в другой отель. Это в Хемпстеде. Подальше от центра.

Я останавливаюсь и смотрю на нее с удивлением.

- Не хотела тебя пугать... Я сначала думала, чтобы с комфортом, а потом поняла - нам лучше без комфорта, но где-нибудь подальше, где уж точно не найдут.

- Господи! Кто нас не найдет?

- Витю убили, понимаешь?

- Витю?

- Ой, я не могу... пойдём снова сядем.

В ее глазах вдруг мелькает какое-то дикое, новое для меня выражение. Я замечаю себе, что последний час мы только и делаем, что садимся и встаем, встаем и садимся. С этим тут проблем нет: скамеек очень много.

- Господи, точно, ты же мне говорила.

- Садись...

Витя, Виктор Евгеньевич был Катиним продюсером и одновременно официальным постоянным любовником. Бритый наголо, крепкий, по-крестьянски сбитый мужчина. Всегда в одной и той же кожаной куртке коричневого цвета. Я видел его всего два раза, один раз в Париже, в ресторане, но со спины и мельком, другой раз - в Москве.

– Он там что-то напутал с какими-то проектами... – она закрывает лицо руками. – Я не знаю... Я в Париже сидела, мне позвонили, сказали “сердечная недостаточность”.

– Так убили или сердечная недостаточность?

– Ладно, это долго объяснять. Я как узнала – сразу звонить кинулась, боялась, что к тебе придут.

– Ой, да кому я нужен?

– Мне...

– Ага, а еще тебе нужен Гвоздев.

Она отнимает от лица ладони, внимательно смотрит мне в глаза, а потом со всей силы бьет меня открытой ладонью по физиономии. Хочет еще раз ударить, но я хватаю ее за руку.

– Ты чего?! Сдурела?!

Я в панике оглядываюсь. Рядом, слава богу, никого.

– А ничего...

– Ладно. Мы тут надолго?

– Не знаю, – хмурится она. – Может быть, навсегда.

Глава 2. Мертвые опаснее живых

Туриста всегда легко различить. Даже в плотной сутолоке больших торговых центров, в больших густонаселенных городах с большим количеством улиц, проспектов, переулков, бульваров, площадей, памятников и музеев. Он

отличается от нас, местных жителей. Ну, например, тем, что мы, местные жители, люди каждодневных городских забот, движемся по тротуарам обстоятельно, тяжело, словно тракторы, вспахивающие поля, словно танки, которые знают, куда ползти всей дивизией, куда стрелять и кого давить. А турист плывет по городу стремительно, легко, как лыжник по слаломной трассе, изящно огибая торговцев, попрошайек, полицейских, проституток, наркоторговцев, делая немислимые петли вокруг статуй, фонарей, памятников, обелисков. Турист скользит взглядом, телом, тенью по фасадам, по тротуарам, по набережным, по паркетным покрытиям музейных залов, по картинам старых мастеров. Он несется очертя голову – в поисках подлинного, истинного, сущностного, истинно сущностного, того, чего в его городе – да что там в городе! во всей его стране! – нет и в помине. Увидеть нечто, чего всем желается, притронуться к этому нечто, почувствовать, как оно, нечто, под взглядом, под ладонью, под ступней напряжется, выгнется и брызнет жизнью в возбужденное, уставшее от передвижений тело, – вот вожденная туристическая цель.

Но тут далеко не все так просто. Туризм – это знает всякий – спорт командный. Одному здесь не место. Сразу – дисквалификация и, как говорится, всего хорошего: ваш результат засчитан не будет.

Здесь работает простая арифметика. Если ты один – то видишь всё. Ну или почти всё, что обозримо, что окружает, все контуры, все детали. Если вдвоем – то ровно в половину того, что можешь видеть один, а если втроем – то треть. Увы, и это слишком много. Но когда толпа, когда хохочут и болтают, когда рассказывается свежий анекдот – окружающее, наносное исчезает, оставляя главное, вожденное: Эйфелеву башню, Биг Бен, Эмпайр Стейт Билдинг, Джоконду, Стену плача, комнату смеха, Монблан, Аллею звезд, Оссу, Олимп, черный Пелион, бухту Афродиты, площадь Марка, собор Петра, собор Павла, собор Петра и Павла. Чем больше названий, тем действеннее и сильнее впечатление, и тут уж не уйти от преображения и воскресения. Все эти названия до?лжно соединить, как точки на карте. Достоешь карту, тройку, семерку, туз, ставишь крестик, маленькую бельевую метку.

Соединять метки линиями – одно удовольствие, и у тебя выходит твой собственный, горизонтальный пейзаж, ожившие плоскости, линии, прямоугольники и ромбы эвклидовой жизни. Ощущение такое, будто в кинотеатре с экрана прямо к тебе, сидящему в зале с попкорном и кока-колой, сходит красавица-актриса и...

– Милый, убери ты ее к черту, эту карту! – Катя морщится и ловким, выученным движением поправляет парик. В ее голосе раздражение и почему-то опять тревога. – Надоел уже... Ну в самом деле, ведь каждую минуту останавливаешься. Видишь, нас уже тут за сумасшедших принимают.

Делаю обиженное лицо:

– Почему за сумасшедших-то? Он просто хотел помочь...

Две минуты назад я достал карту, чтобы сориентироваться, и возле нас тотчас же оказался невысокий пожилой джентльмен.

– Молодые люди потерялись?

Дорогое клетчатое пальто. Очень короткое, как тут принято. Обвисший пеликаний подбородок. Над ним – сдержанная полуулыбка. В Лондоне – хотя из-за Кати я вижу только половину обозримого – все вокруг короткое, аккуратное, клетчатое и сдержанное: улицы, тротуары, куртки, пиджаки, панталоны, люди, их руки, их ноги, их пальцы, их носы, фасады домов, ограды. И повсюду мелькают такие же полуулыбки. Никакой хмурости навстречу тебе, как в России, никакого рта-до-ушей (Hi, dude![2 - Привет, чувак! (англ.)]), как в скобарской Америке. Выражения землистых, типично хемпстедских лиц всегда спокойные, слегка отрешенные. Вокруг уголков рта – мелкие морщины. Голоса вкрадчивые, тихие.

“Богач... – еще подумал я. – Раз голос тихий – значит, богач. Деньги любят тишину. Витя, кстати, Катькин продюсер, никогда этого не понимал. А понимал бы – так лежал бы сейчас не в прозекторской с биркой на ноге, а в постели с Катькой”.

Я вежливо поблагодарил джентльмена, сказал, что все в порядке, что мы уже сами во всем разобрались. Тот церемонно поклонился (как это у них всегда получается?) и отошел. И даже не “отошел”, а скорее плавно “отодвинулся”, не сделав будто бы ни единого движения ногами.

– Давай, прячь уже карту и шевели ногами, – морщится Катя. – Пора уже двигать отсюда.

– А если потеряемся? – говорю. И тут же, который раз за день, чувствую, что говорю глупость. Катя в ответ зевает и, прикрыв рот ладонью, пожимает плечами:

– И что? Зато нас никто не найдет.

– Если потеряемся, – мой взгляд обводит крошечную площадь, – то начнут искать и обязательно найдут.

Над головой нервно вскрикивает чайка. Катя вздыхает и снова поправляет парик:

– Ты, мой милый, сегодня как-то особенно в ударе. Спрячь, пожалуйста, карту и не беси меня. Мы гуляем. Понятно? Просто гуляем...

Прячу карту в рюкзак, как велено. Ладно, нет проблем. Мы просто гуляем.

Над Хемпстедом густые, серые тучи. Дождь то начинает тихо накрапывать, то прекращается, словно захандривший маленький ребенок, который почему-то не решается громко и окончательно расплакаться.

– Хандришь, да? – спросил меня в тот раз пожилой дачный родственник. В то лето от меня ушла Джулия, и я сначала тосковал, как животное, лишенное регулярных совокуплений, а потом со мной сделалась депрессия. Совершенно незапланированно. Не хотелось ни пить, ни есть. Ничего не хотелось, даже жить. Тогда тоже было хмурое небо, затянутое тучами, и так же накрапывал дождь – стоял конец августа, сезон влажных циклонов. Я был в саду, курил неизвестно какую по счету сигарету и бесцельно разглядывал убогие колючие кусты, высаженные моей теткой. Мыслей не было. Хотелось покончить с собой, но я никак не мог решиться. И тут как из-под земли – этот дачный родственник. Подошел, встал рядом, тронул меня за рукав и, подмигнув, спросил:

– Хандришь, да?

Мне показалось, что я сплю, но почему-то стало легче.

- Пойди погуляй лучше, - посоветовал родственник и потрепал меня по плечу.

Значит, мы просто гуляем. Лабиринт здешних улиц, дорог, переулков равнодушно принимает нас в себя. Улицы спускаются, потом вдруг начинают медленно ползти вверх, загибаются, уходят в стороны, запутываясь, запутывая нас с Катей, переплетаясь, как тристановские аккорды в громоздких немецких операх, как щупальца осьминога или как морские чешуйчатые змеи из поэмы Кольриджа, решившие совокупиться. Старый мореход смотрел на них и возрождался к *vita nuova* [З - Новая жизнь (итал.)]. А Тиресий не возродился. Но зато превратился в женщину. Почему нет? Тоже в своем роде *vita nuova*... У меня не получится ни того ни другого. Я не участник сейчас, а зритель, но зато свингер-пати остановили, и моя Катя со мной. Вот только надолго ли?

Мы просто гуляем... Пусть все, кто попадаетеся нам навстречу, так думают. Просто гуляем, идем без карты, наугад, не прилагая никаких усилий, ни физических, ни умственных, совпадая с общим гулом Хемпстеда, словно ложимся в дрейф, как катера на Темзе, заглушившие моторы. Скользим мимо домов, стоящих порознь, мимо заборов, мимо щуплых деревьев, мимо невысоких уличных фонарей и пустых скамеек. Нас то и дело обгоняют плавно ползущие автомобили. Вот из-за угла ловко выплыл красный автобус и, тихо фыркнув, покотился прочь. Автомобилей и автобусов здесь явно больше, чем людей. Видимо, для того, чтобы туристы не отвлекались на себе подобных и смогли сполна насладиться здешними видами, которые их взгляд обнаруживает.

Витю-продюсера обнаружила утром домработница. Она, как обычно, пришла убирать, открыла дверь своим ключом. Еще удивилась, рассказывала мне Катя, непривычной тишине. Обычно в это время продюсер всегда уже был на ногах, носился по квартире с телефоном, ругаясь и выкрикивая угрозы. Домработница заглянула в спальню - Витя лежал на постели лицом вверх с закрытыми глазами, видимо, спал, она не решилась будить. Начала уборку с ванной, как обычно, потом перебралась на кухню, в коридор, в кабинет. Прошел час, другой. Заподозрив неладное, зашла, и тут поняла, что он не дышит. Скорая приехала через двадцать минут, а еще через десять минут появились оперативные сотрудники. Врач констатировал смерть. Диагноз - сердечная недостаточность.

Кате домработница позвонила через час после того, как ее отпустили из милиции. А Катя тут же набрала меня...

– Может, он переутомился, этот твой Витя? – спросил я. Мы ехали в метро. Было полно народу; вагон раскачивался, как лодка на Темзе во время непогоды. Одна за другой мелькали скучные подземные платформы.

– Конечно, – Катя с фальшивой многозначительностью приоткрыла рот и помотала головой. Вокруг нас стоял шум. – Вот так взял ночью во сне переутомился, а с утра помер. Включи мозги! Да он здоров был как бык, в отличие, кстати, от тебя.

– Ну, может...

Поезд остановился. Крохотные двери разъехались в разные стороны, выпустили пассажиров на станцию, и в вагоне стало как будто просторнее. Потом снова кто-то зашел, какие-то люди, встали возле нас, заговорили. Механический голос громко объявил следующую станцию.

– Это классика криминала, пойми, – начала Катя, когда шум понемногу утих. – Сериалы смотреть надо чаще, понятно? Да и потом, там было за что.

Витя взял деньги на проведение международного музыкального фестиваля от наших и от французов, и ни с кем не захотел делиться.

– Там было столько... – Катя закатила глаза. – Что даже целой банде не украсть. Я как раз по этим делам в Париж полетела.

– Знаем мы, – сказал я, – твои парижские приключения.

– Жалко, – она будто не расслышала. – Слушай, давай выйдем на следующей? Витя был хороший... детей знаешь как любил.

Откуда-то доносится детский смех, хотя самих детей не видно. Где-то над головой истерично кричат чайки, с деревьев каркают вороны. Но пешеходов

почти нет, и оттого все обозримое кажется пустынным. ?ed und leer das Meer[4 - Нелюдимо и пустынно море (нем.)]. Но поскольку король Виктор умер, моя Белокурая Изольда все-таки приехала, и теперь мы вместе, и “просто гуляем”, а звуки сливаются в монотонный непрекращающийся гул, напоминающий дыхание морской равнины или тусклый голос прибоя. Почему-то начинает казаться, что, если убрать звуки автомобильной возни, смех детей, крики истеричных чаек и карканье воронов, – этот гул и это дыхание все равно останутся. 50 000 000 лет назад здесь плескалось море, и сероватый, серный, ватный известняк вокзала Ватерлоо до сих пор хранит отпечатки тех древних допотопных водорослей и морских чудовищ. Наверное, море снова возвращается и скоро сведет всю лондонскую жизнь на нет.

Катя вышагивает рядом в красном пальто. Под пальто – знакомое мне тело, волнуемое, упругое, сильное. В глазах – ведьмино болото, в бедрах – простор, как в лондонских парках, на голове – черный парик. В руках наготове – крошечный японский зонтик-автомат, который стреляет глухим шлепком волны о камень. Вся в мыслях, словно меня тут нет, в заботах, ведомых только ей одной.

Нарочно отстаю, чтобы полюбоваться ею сзади.

– Может, покурим? Ты чего там застрял? – Катя поворачивается ко мне и указывает зонтиком на пустую, плоскую, без спинки, похожую на маленький плот скамейку, одиноко стоящую посреди тротуара.

– Давай...

– Слушай, – ехидно говорит она, пока мы направляемся к скамейке. – Все-таки дерьмовый у тебя английский, а? Ты с этим мужиком так ужасно разговаривал.

– Практики мало...

– На уровне “ху-ю”. Знаешь этот анекдот?

Киваю. Анекдот этот, с длинной советской бородой, я, конечно, знаю.

Кабинет, кожаные кресла, на стене – портрет Брежнева в орденах. Звонит телефон. Человек в двубортном костюме с обобщенными чертами лица снимает трубку и громко произносит:

– Ху ю?

Потом, помолчав, переспрашивает:

– Ху я? Ай эм рашн консул!

Не смешно, и вдобавок диссидентская клевета. Наши консулы и сейчас, и тогда чесали по-английски ничуть не хуже англичан.

Возле скамейки, куда мы направляемся, огромная урна, а в ней деловито ковыряется ворон. Заметив нас, ворон поднимает клюв, зачищает его о металлический край и тревожно каркает. Поворачиваюсь к Кате:

– Дурной знак...

– Ни-че-го, ни-ко-гда, – она решительно кивает головой. – Переживем.

Мимо проезжает, сверкнув фарами, фургон, разрисованный мебельной рекламой. Ворон, вторично каркнув, взмахивает крыльями и перемещается на дерево.

Тянет посидеть на скамейке и покурить, но очень не хочется, чтобы Катя тоже садилась. Хочется ею полюбоваться.

Помню, она рассказывала, что ехала в московском метро, все места были заняты, она стояла, а позади сидели два американца средних лет и громко болтали. Наверное, холеные, выбритые, в ярких спортивных куртках. Один вдруг посреди разговора произнес:

– Давай девушке уступим?

А второй:

- Слушай, мужик, а давай не будем? Лучше посидим – посмотрим на ее ножки.

Катя повернулась к ним, покачала головой и сказала:

- Мальчики, а давайте вы все-таки лучше встанете, а я сяду и сама посмотрю на ваши ножки.

Ну, те, конечно, по ее словам, сразу вскочили, покраснели, принялись извиняться, упрашивать сесть. Ага, как же... Уступят они тебе место.

Садимся, закуриваем. Молча разглядываем медленную автомобильную возню. Меня начинает раскачивать, как на волнах, клонить в сон.

- Интересно, – говорю я, чтобы не заснуть, – а где сейчас Сидоров? Как ты думаешь?

- Фиг его знает, – пожимает плечами Катя. – Наверное, на дно залёг. Где-нибудь в Брюгге. Или в том же Копенгагене.

Вечером я лежал на кровати, словно на дне лодки, разомлевший после морской ресторанной еды, и в полудреме смотрел телевизор. Катя принимала душ. Нам достался номер в отеле эпохи славной революции, причем очень тесный номер. Английские протестанты тех лет – не испанские католики с их размахом. Они проявляли удивительное внимание к пространству, и каждый сантиметр у них был на учете.

В нашем протестантском номере было тесно, как на подводной лодке. Здесь едва помещалась двуспальная кровать с высокой резной спинкой – образец сдержанности и целеустремленности, два легких кремовых кресла с обшарпанными подлокотниками и круглая тумбочка-поплавок. Аккуратно встроенный в стену шкаф с двумя отделениями, по-видимому, предназначался для одежды. Окно, крошечное, как иллюминатор, находилось на уровне пояса.

По телевизору показывали самые свежие европейские новости. Двое ведущих обобщенного вида сидели за длинным столом на фоне голубого экрана. Седовласый молодящийся мужчина и девушка. Я даже запомнил, как их зовут, потому что они все время называли друг друга по именам. То и дело слышалось: Джон? Элизабет? Джон? Элизабет? Джон? Элизабет? Это было похоже не на новости, а на игру в теннис, которую англичане так любят. Джон – Элизабет, Джон – Элизабет...

Седовласый мужчина Джон объявил, что страны Скандинавии собираются ужесточить законы в отношении нелегальных иммигрантов. Особенно из бывших стран Советского Союза. Я поднял пульт и сделал погромче.

– Иммигранты, – развивал свою мысль ведущий, энергично жестикулируя, – сделались серьезной проблемой для стран Скандинавии. Они отказываются жить на островах, где им предписано, самовольно покидают построенные для них лагеря, занимаются бродяжничеством, воровством, наркоторговлей. Элизабет?

– Интерпол, – звонким голосом включилась девушка, – разыскивает Евгения Сидорова, русского по происхождению, проживавшего до недавнего времени на территории Эстонии и имеющего паспорт иностранного гражданина.

“Ага, – подумал я. – Русский, проживает в Эстонии и при этом не является ее гражданином. Скоро мы все такими станем. Как у Элиота: я не русская, родом из Литвы, чистокровная немка”.

На экране появилась фотография молодого мужчины. Спутанные волосы, тяжелый выпуклый лоб, умные разнесенные по краям лица глаза, в которых светилась какая-то упрямая мысль. Он не был похож на преступника. Скорее – на поэта или художника.

– Чего это ты тут смотришь? – Катя присела рядом на край кровати и встряхнула мокрой головой. На ней был белый гостиничный халат, очень короткий.

– Да вот... – сказал я. Ее голые ноги в мелких каплях воды меня отвлекали. – Сидорова вон ищут.

– Понятно, – засмеялась она. – А Иванова с Петровым уже разыскали, да?

“Не смешно”, – подумал я, но вслух этого не сказал, а, наоборот, заискивающе хихикнул.

Ведущая Элизабет тем временем сообщила, что Сидоров, который разыскивается эстонскими властями за экономические преступления, был арестован полицией Дании, но вчера ему удалось бежать из-под стражи.

– Милый! – позвала Катя. Я повернул к ней голову. – Я хочу тебя!

– Что ты хочешь? – я не сразу понял. Все мои мысли в этот момент занимал Сидоров. Известие, что ему удалось сбежать из датской тюрьмы, почему-то привело меня в хорошее настроение. – Ну Катя!

– Что “ну Катя, ну Катя”! – Она погладила себя по ноге и, внимательно глядя мне в глаза, принялась развязывать пояс на халате. Я слегка отодвинулся.

Катя сбросила халат, осталась в одном белье и с ногами забралась на постель. Я нажал кнопку на пульте. Изображение исчезло, и в комнате воцарилась тишина. Было слышно, как в душевой кабине капает вода. Катя потянулась обеими руками за спину, и через секунду мне в физиономию полетел ее лифчик.

– Иди ко мне!

Когда Катя голая, или почти голая, я теряю всякую способность соображать. Я ищу мысль, за которую можно было бы зацепиться, но мысль рвется, теряется, уступает дорогу вожделению. Все в этой жизни кого-то вожделеют, кого-то ищут, но для общего замысла будет лучше, если никого не найдут. Полиция ищет Сидорова, Катю ищут бандиты, меня разыскивает деканат. Поиск и вожделение, безудержные, жадные, распадаются на великое множество электрических вспышек. Эта женщина, Екатерина Федоровна, Катя, исчезает, но каждая ее часть остается, просыпается к собственной новой жизни и почему-то начинает двигаться, дышать, возбуждаться совершенно самостоятельно, отдельно от всех других. Разглаженные губы как будто не знают о больших крепких грудях, которые вроде как теперь уже не знакомы с загорелой спиной, с ярко-красными ногтями, с глазами болотной ведьмы, совершенно не догадывающимися, что где-то внизу есть сильные прохладные ноги и аккуратный разрез между ними.

– Чё замолчал сразу? – раздался в тишине Катин голос, теперь уже тихий, вкрадчивый. – Я же накосячила – с меня отработка.

По спине ледяными крошками пробежал озноб. За дверью слышались шаги, а потом раздался сердитый детский плач.

– Хватит, – я придвинулся к ней.

– Ну, прости меня, слышишь? Простишь? Тебе нравится?

Холодные тонкие пальцы с длинными красными ногтями приятно скользнули в моих волосах, а на лице Кати застыла полуулыбка. Мягкая, немного насмешливая и покровительственная. Так обычно улыбаются англичане и учительницы младших классов. Раньше Катя еще вдобавок кивала.

– Прости, старая привычка, – сказала она мне однажды. – Еще с прежней жизни в ресторане.

Предметы в комнате, кровать, кресла, тумбочка, постельное белье – все вдруг вздохнуло, размякло, поплыло, стало растворяться. Осталось лишь тихое движение, покачивание на морских волнах прибоя, взбивающего пену. И никаких чувств – лишь электрические вспышки, одна за другой, и усталость в нервных, слабых руках.

– Думай обо мне... – тихо пропели ее губы и прикоснулись к моей щеке.

Катя прижимается ко мне.

– Ты какой-то вялый сегодня... Не выспался, что ли?

– С тобой выспишься, – я бросаю окурок в урну и промахиваюсь. Окурок шлепается на тротуар.

– Подбери, – показывает зонтиком Катя, поднимаясь со скамейки. – Видишь, как у них тут все чисто.

Вижу.

– Милый, вставай, пойдем погуляем. Хватит уже сидеть, толстожопить. Подбери окурок, говорю.

Нет проблем, подберу. Какая-то в ней нервозность с утра. И чего ей сегодня нейметяся?

– Да ладно тебе. Всего-то на минутку присели.

Я вдруг ловлю себя на странном ощущении, будто мы и впрямь провели тут не пять минут, а часы, дни, годы. Присев на скамейку, мы не выпали из жизни, но опустились на дно, а жизнь дрейфует у нас над головой, раскачивая ветром деревья, бесцельно гоня туда-сюда приливами и отливами автомобили, автобусы, мотоциклы. В России, как сказал один писатель, время словно налипает. А тут, в Хемпстеде, оно, напротив, расслаивается, утекает в разные стороны, то замедляя свой ход, то ускоряясь. Здешний Бог – это не Бог пространства, как у нас, а Бог времени, или даже само Время, дрейф сущего, постоянная смена караула у Букингемского дворца. Впрочем, похоже, дома? в Хемпстеде делают вид, что совершенно не замечают времени. Как это по-человечески! Совершенно в духе Шекспира и Уэбстера. Если быстро идешь, каменная плотность домов может вдруг показаться обманной. Совсем как Катины вывороченные губы или большие полукружья в ее декольте, которые разрешается трогать только на 23 Февраля. Вот аккуратный дом с трубами, торчащими на крыше. Взгляд пешехода, случайного туриста, ищет повторения и находит – вот еще один дом, совершенно другой, но точно такой же; вот – третий, вот – четвертый, пятый. Окна везде занавешены, аккуратные дворики пусты.

– Мне кажется, здесь давно никто уже не живет, – говорит Катя. Она щелкает языком и встряхивает головой.

В самую точку! Я не знаю почему, но ее мысли всегда совпадают с моими. Кажется, что перед нами полые стены, за которыми ничего нет, и они поставлены тут с одной-единственной целью – утвердить царство человека если не навсегда, то хотя бы надолго. Мы отказались от сущности ради существования, ради того, чтобы утвердиться, сделались несовершенными, хрупкими, силиконовыми. А потом и вовсе превратились в обозначения. Но,

возможно, теперь, став обозначениями, мы никогда не умрем и обретем жизнь вечную?

Если замедлить шаг, то Хемпстед обретает плоть и тяжесть, словно дарит ощущение возделанной земли, отвергнувшей небо и восславившей умеренность и строгий расчет. Неудивительно, что Катя, придуманная сверху донизу пластическим хирургом, выбрала именно это место.

Дома? здесь не слишком высокие и не слишком низкие. Не слишком узкие и нельзя сказать, что широкие. Не то чтобы новые, но старыми их тоже не назовешь. Чичиковы от архитектуры. Возведение этих построек вряд ли наделало в истории градостроительства много шума. Они стоят аккуратно, скромно, по отдельности, вольно, как корабли на рейде, иногда на центральных дорогах – вместе, прилипнув друг к другу, но все равно сохраняя независимость, словно старые морские крепости, готовые выдержать длительную осаду.

Пешеходы и автомобили им глубоко безразличны. Им нет дела ни до чего и ни до кого. Если остановиться, то различишь в этих бурях, вспучившихся эркерами фасадах едва заметное движение волны.

У меня в кармане начинает звонить телефон.

– Это Гвоздев, – в трубке пьяный, поплывший голос.

– Ну чего тебе? – говорю недовольно. – Чё ты снова вынырнул?

– Смотри – церковь! – Катя легонько толкает меня в бок. – Давай зайдём, а? Это кто, кстати, звонит?

– Мы с Элкой... короче... в гости тебя хотели позвать. Я... короче... хочу это... извиниться.

Мимо нас стремительно, с оглушительным треском проносится мотоцикл. Я успеваю разглядеть мужчину, крупного, бородатого, в черной кожаной куртке, и прижавшуюся к нему сзади всей своей молодостью и силой стройную девушку в синих вытертых джинсах. Мотоцикл резко поворачивает за угол, оставляя в воздухе небольшое облако.

- Короче, мы тебя ждем! – объявляет Гвоздев.

- Иди к черту! – я даю отбой и возвращаю телефон обратно в карман.

Катя останавливается и качает головой, словно не может поверить:

- Ты совсем сдурел? Перед церковью... Кто это был-то?

- Да неважно...

- Что неважно? Кто был, говорю?

- Ну, Гвоздев.

- А... ладно тогда. Давай зайдем, а? У нас еще есть немного времени.

Странно, мне казалось, чего-чего, а времени у нас полно. Желудок начинает слабо покалывать неприятным предчувствием.

- Слушай, – она задирает голову вверх, шлепает меня тыльной стороной ладони по плечу и показывает куда-то наверх. – А почему у них такие церкви?

- Какие?

- Ну такие... как шприцы.

- Готические, что ли?

- Ну да... наверное... – Катя, подавив зевок, зажмуривается и прикрывает рот ладонью.

(“Наверное. Учиться надо было, книжки читать, а не вертеть бедрами по ночам. Наверное!”)

- Не знаю, – говорю. – Может, чтобы небо уколоть в грудь, упрекнуть его в пустоте.

Катя убирает руку ото рта и укоризненно на меня смотрит.

- Дурак! Я - серьезно...

- И я - серьезно. Есть даже такие стихи про готический собор: неба пустую грудь тонкой иглою рань.

Мы останавливаемся почти у входа, задираем вместе головы и смотрим на башню.

- Катя, я, если честно, понятия не имею. Думаю, это типа божественный свет, расходящийся вниз с неба.

Какая, впрочем, разница? Эти кирпичные помещения - давно уже не церкви. Их большей частью переделали в детские сады, начальные школы, концертные залы. Оно и понятно: англичане испокон веков не слишком полагались на Бога. Всё больше - на деловых партнеров или на финансовое законодательство. Но еще чаще - на себя.

Взять хотя бы Джека Шеппарда, который сбегал из всех тюрем, куда его запикивали. Оковы, каменные стены, решетки, замки на дубовых дверях нисколько его не смущали.

Когда Шеппарда поймали в последний раз, священник зашел в его камеру и провозгласил:

- Сын мой, я принес тебе слово Божие! Оно тебя спасет!

- Святой отец, сейчас меня спасет только напильник, - усмехнулся Шеппард. Он был крепко прикован к полу тяжелой цепью. - Вы напильник случайно не захватили?

Нет, напильник священник не захватил. Только прыщи и слово Божье. Шеппард шумно вздохнул:

- Значит, опять придется возиться.

Через час после ухода священника Шеппард уже разбирает потолок в своей камере, а еще через полтора часа вылез на крышу. И тут он вспомнил, что оставил в камере чудесное одеяло, полез обратно и тотчас был снова схвачен. А вот Сидоров молодец, подумал я, не стал возвращаться. Уповать на Бога, конечно, нельзя, но искушать его тоже не стоит. Из тюрьмы надо бежать безоглядно. А Дания – тюрьма. Как, впрочем, и весь остальной мир.

Шеппард и Сидоров – оба из нового времени. А прежде в Лондоне церковью было много и отовсюду доносился мерный колокольный звон, отбивавший часы. Тяжелые железные круги носились по воздуху, катились с крыш, ударялись о деревянные стены и мостовые, подпрыгивали, застревали в деревьях. Колокольный звон напоминал о том, что земное время – несовершенное отражение времени божественного. Звонари даже соревновались, кто грянет громче, а короли и королевы их в этом поощряли. Мол, ежели звонят-откройте дверь, значит в стране все в порядке, достаток и процветание.

Потом церкви, аббатства, приделы разграбили, растащили, пожгли. А те, что остались, на долгие годы превратили в плотницкие, в мастерские, в склады, в сараи, в теннисные корты. Колокола сняли и переплавили. Их музыка ушла. Остался лишь шум торговой сутолоки, скрип телег да крики ночных сторожей. Именно тогда, когда история сделалась тенью человека, взяла костыли и захромала, стал слышен этот неумолимый монотонный гул. Ха! Этот историк, отнявший у меня Джулию... Он ведь тоже теперь хромой и передвигается на костылях. Но зато – какой успех!

Я придерживаю тяжелую дубовую дверь и пропускаю Катю вперед под стрельчатые своды, напоминающие перевернутые пустые воздушные корабли. Внутри – полумрак, и свет едва проникает сквозь витражи в узких вытянутых окнах. Тихо, как на дне морском. Не слышно органа, гимнов, священника, не видно матросов, прихожан, джентльменов, дам, нянь с детьми.

Сбоку раздается осторожный шорох, заставляющий вздрогнуть и обернуться. Из полутемной ниши выскальзывает пожилой африканец. Внезапно, как выпорхнувшая из лесной чащи птица. Он идет, прихрамывая, прямоком ко мне, улыбаясь, показывая ровные белые зубы, и, подойдя, протягивает тоненькую брошюрку. Я благодарю испуганным кивком и, взяв брошюру, поспешно отступаю, почти отскакиваю туда, где стоит Катя. Звать ее как-то неловко, не хочется осквернять тишину; хотя кому тут можно помешать?

- Чё это? - Катя щурит взгляд и вопросительно поднимает подбородок.

- Не знаю...

На обложке крупным шрифтом слова:

BE RECONCILED TO GOD![5 - Примиритесь с Богом! (англ.)]

- Чушь! - морщится Катя. Она подносит ладони ко рту и дышит на них. - Выкинь!

- Руки замерзли?

В самом деле, думаю, если Бог - это время, то как можно примириться со временем, с его ходом, с тем, что постепенно куда-то деваается: не слышно капитана, не видно матросов... Человек ведь и задуман в этой непримиримости.

Катя смотрит на часы.

- Всё, милый, пора. Время вышло. Пошли обедать.

Я оборачиваюсь. Африканца нигде не видно.

- Ну так вот, значит... А потом выясняется, что эта Ребекка, бывшая хозяйка, - редкая тварь, понимаешь? Стерва...

- Салфетку передай, пожалуйста, - говорит Катя. - Ага... И вина... можешь налить?

Мы сидим в кафе, и я вот уже, наверное, минут десять пересказываю Кате сюжет романа Дафны дю Морье. На улице промозгло. Капает дождь, а здесь тепло и сухо. Правда, по-британски. То есть на самом деле сыро и тесно. Резные деревянные столики, старые кресла с большими подлокотниками, на стенах - начищенные до блеска бронзовые канделябры, в центре у стены - большой

камин, сложенный из красного кирпича. Все основательное, спокойное, знающее себе цену, напоминающее о величии империи.

Бережно провожая нас с Катей к столику, менеджер ресторана деликатно поинтересовался, читают ли в России так же много, как прежде, при коммунистах. Я кивнул, сказал, что читают, что такие привычки вытравить не так-то просто. Катя только усмехнулась. Тогда менеджер, видимо, удовлетворившись ответом, сообщил, что Хемпстед – очень литературный район, и здесь, буквально за углом, жила Дафна дю Морье.

– Это еще кто? – спросила Катя, поморщившись. По недовольному тону и по выражению лица я понял: Катю вытащили из ее мыслей, и ей это неприятно. Сейчас я рассказываю про знаменитый роман Дафны дю Морье, перебирая как четки эти слипшиеся в нем жанры, которые там тянутся друг за другом неразрывно, как вагоны современных экспрессов. Ребекка. Живые и мертвые. Мы и они не так уж разделены. И живые чаще бывают безобиднее мертвых. Убитая достучалась до него с того света. Пока я рассказываю, вспоминая подробности, добавляя что-то от себя, Катя рассеянно ковыряется вилкой в салате и поминутно оборачивается на дверь.

– Тебе неинтересно?

– Нет, что ты! – она поправляет браслет на левой руке и смотрит на часы.

Громко звенит колокольчик, и тут же откуда-то сзади раздается высокий мужской голос:

– Екатерина Федоровна!

Мы оборачиваемся. У дверей стоит мужчина спортивного вида, средних лет. Он коротко бросает что-то по-английски официанту и, следуя его указаниям, спортивной походкой направляется через весь зал к нашему столику, на ходу расстегивая короткое синее пальто.

– Привет, – Катя встает навстречу и, широко улыбаясь, механически подставляет ему щеку для поцелуя.

– Молодец, что перезвонила. Я присяду? – Прикасается губами к ее щеке, снимает пальто, разматывает красный клетчатый шарф, передает их подоспевшему официанту. Потом небрежно кивает головой в мою сторону. – Это кто с тобой?

Катя опускается на стул, как будто не услышав его вопроса.

– Чудесно выглядишь! – говорит он, сдержанно улыбаясь.

– Ага, ты тоже...

Про них, про обоих, думаю я, и впрямь можно сказать, что они оба “чудесно выглядят”, в отличие от меня. Катя – посвежевшая после недавних пластических подтяжек, и этот – с ровным загаром из солярия, аккуратной щетиной и приветливым выражением на физиономии. А я, видимо, сижу тут лишним.

– Ты откуда сам? – он с любопытством поворачивается ко мне.

– Из Ленинграда, – отвечаю я, чуть помедлив.

– А, – он понимающе кивает и покровительственно подмигивает. – Значит, за “Зенит” болеешь, да? Ленинградский наш “Зенит” был когда-то знаменит? Да?

Я беспомощно смотрю на Катю.

– Слышь, пациент, – Катя приходит мне на помощь. – Какой еще “Зенит”? Ты сам болеешь. Он – профессор, понял?

– И что? – он добродушно смеется. – Профессора что, теперь у вас там футбол не смотрят? Да? Игорь!

Он протягивает мне руку.

– Игорь? А вы случайно не Игорь?.. – я называю фамилию известного футболиста.

– Случайно – да, – смеется, широко открыв рот. Обнажаются ровные белые зубы.

– Ух ты!

Этот Игорь лет десять назад играл за сборную России по футболу. Играл очень хорошо. Потом был скандал, и его имя всплыло с связи с делом одного криминального авторитета, который тогда курировал спорт, “Мухи”, Сергея Мухина. Этого Мухина убили в конце девяностых в Бангкоке. Помню, в каком-то таблоиде тогда появилась статья “Муху прихлопнули, но дело его живет”. Игорь тогда выкрутился, спешно покинул страну, подписал контракт с английским клубом.

– А вы... ты... еще играете? – спрашиваю.

– Какое там... – он смеется и бросает добродушный взгляд на Катю. – Смешной у тебя парень. Играю? Вишь, седой уже весь...

– Так... – Катя натянуто улыбается и произносит сквозь зубы: – Милый, походи, пожалуйста, погуляй, ладно? Нам тут с футболистом потолковать надо.

На лице “футболиста” расплывается любезная полуулыбка – как все-таки Англия быстро меняет людей:

– Минут на десять, братан, да?

– На полчаса, братан, – хмуро уточняет Катя. – Погуляй тут рядом. Дождь вроде перестал? Ты мне про эту, как ее, Дафну потом дорасскажешь, ладно?

Одевшись, выхожу в этот непрекращающийся морской гул, в дождливую сырость. Куда тут можно пойти? Я даже не помню, в какой стороне гостиница. Главное – не потеряться в этом извилистом, насквозь промытом дождем лабиринте. Иду наугад, гуляю, стараясь ни о чем не думать. Если так долго идти, отключив мысли и чувства, то кажется, что окружающие предметы за тобой наблюдают. Вон – красный особняк, он косится из-за забора спесиво и подозрительно. У ограды из земли наружу высунулся черный валун, высунулся безо всякой цели, так, из чистого любопытства, поглазеть на туриста. Вон на углу, прислонившись к фонарю, отдыхает велосипед, равнодушно устремив на меня единственный глаз фары. Вон впереди огромное дерево опасно раскачивается в церемонном приветствии. Назойливей всех асфальт. Плотный, ровный, он тянется за тобой, пружиня, подталкивая вверх, словно стараясь

выпроводить вон.

Есть время снаружи, отзывающееся мерным гулом, оно же – время внутри тебя. И еще есть нелепость этих случайных предметов, домов, валунов, фонарей, деревьев, автомобилей, выглядывающих из общего потока.

Под козырьком мясной лавки я застываю. Это стоит видеть... Зрелище, достойное таланта малых голландцев, чья фантазия, не осмелившаяся устремиться в небеса, была прикована ко всему земному – к мясу, винограду, свежепойманной рыбе. За стеклом – высокая пирамида, выложенная из красных мясных подков, выпиленных из тел четвероногих. Шедевр говяжьей геометрии.

Все подковы одинаковы, видно, их вымеряли аккуратно, с чисто английским педантизмом, со знанием мясного дела. Внутри магазина за прилавком строгая худая женщина. Старомодные очки в роговой оправе и белый халат. Похожа на квалифицированного хирурга, даже сейчас, когда заворачивает пожилому мужчине сардельки. Точные выверенные движения. Руки в белых резиновых перчатках.

А ведь прежде в этих лавках царила дикость. Мясники огрызались, кидались с кулаками на покупателей, подстерегали конкурентов в темных переулках, чтоб перерезать им горло. А потом, как дети, шарахались от каждой тени, боялись, что те, убитые, восстанут из гробов. Средневековые лондонские хроники утверждают, что бо?льшая часть преступлений в столице совершалась мясниками. Видимо, их возбуждал бурый цвет, цвет крови и мяса.

Позади раздается резкий звук клаксона. Я вздрагиваю и испуганно оборачиваюсь. Водитель за рулем фургона, он же мясник, сердитым жестом приказывает мне отойти – я загораживаю ему подъезд к магазину. Отхожу в сторону. Мало ли что у этого мясника в голове – мне тут лишних проблем не нужно. Вот Гвоздев бы на моем месте так бы де?ла не оставил.

Помню, однажды Гвоздев накинулся на такого водителя, который со всей дури нам просигналил в спину. Дело было на пешеходной линии Васильевского. Я даже вмешаться не успел. Гвоздев выволок его из машины и принялся зверски избивать, руками и ногами.

– Сука! – кричал он, нанося удары. – Купи себе правила дорожного движения! Это пешеходная зона, понял?! По ней ходят пешеходы!!! Слышал про таких?! Это те лохи, у кого нет машин!!! Понял?! Повтори!!!

Но водитель уже ничего не мог повторить. Ему повезло – он почти сразу отключился. Помню, мы рванули в ближайшую подворотню, а потом еще час отсиживались в каком-то грязном подъезде, где пахло кошачьей мочой.

Гвоздев выговаривал мне за трусость:

– Ты должен был мне помочь!

– Но как? – оправдывался я. – Он же почти сразу вырубился.

– Все равно, – упорствовал Гвоздев. – Ты мог бы из солидарности хотя бы пописать на него. Я бы тогда не чувствовал себя так одиноко.

Дальше мы пили водку в дешевой забегаловке на Петроградке и закусывали шпротным паштетом – Гвоздев сказал, что нужно снять стресс. Водка шла легко, а паштет, напротив, никак не лез в горло – вкус у него был отвратительный. Помню, про этот шпротный паштет Гвоздев тут же сочинил стихотворение: “Паштет шпротный, / Он же – рвотный”.

А вот что было потом, я, откровенно говоря, помню смутно. Закрывалось метро, я боялся опоздать и еще боялся, что меня туда пьяного не пустят.

– Соберись! – внушал мне Гвоздев. – Зайдешь – и сразу дуй к турникетам, пока не остановили. Держи! Вот тебе жетон. Главное – не промахнись, когда будешь совать в автомат.

Я все сделал, как надо. И даже жетон опустил, куда положено. Но у самого эскалатора мне перегородил дорогу крупный пожилой мужчина в синей форме.

– Это ж надо, молодой человек, так напиться! – огорченно произнес он.

– А что... случилось? – говорить мне было трудно. Все силы уходили на то, чтобы поддерживать равновесие. Он грустно покачал головой:

– Хабарик-то уж можно было выкинуть?

И тут только я заметил, что держу сигарету, которой меня на прощание угостил Гвоздев.

Закуриваю, смотрю на сигарету, зажатую пальцами правой руки, – и тут только меня осеняет: “Она его любовница! Катя и этот футболист – любовники!” Воспоминания о Гвоздеве сдувает, как сигаретный пепел. Ну конечно! Как он со мной разговаривал! Так вальяжно, покровительственно, словно одолжение делал. И она с ним очень уж по-свойски... И смотрела на него: так смотрят на остатки ужина и на бывших. Всё понятно... Я надоел ей своими жалобами, своей ревностью, вот она позвонила бывшему и... О’кей... так даже лучше. Свалю в Париж, к Гвоздевым. Заодно схожу в Помпиду. В любом случае сейчас надо вернуться в ресторан. Они, пока меня нет, наверное, уже целуются. Если они вообще там... Черт! Один в городе, без вещей, без денег, без друзей...

Когда я захожу, вернее забегаю, в ресторан, бывший игрок сборной России по футболу и Катя сидят ровно так же, как я их оставил – напротив друг друга. Присаживаюсь на свое место.

– Ваши полчаса, – говорю, – уже прошли.

Замолкают. Футболист приветливо улыбается, поднимает голову и начинает разглядывать потолок, а Катя принимается сосредоточенно, резкими движениями разрезать стейк. Видно, его только что принесли. Из надразов сочится кровь, смешиваясь с бурым соусом. Слово прошлое с усилием прокладывает себе путь, выбираясь наружу из-под власти ничего не стоящего безмятежного настоящего.

– Короче так... – глядя в тарелку, говорит Катя. – Витины косяки – это Витины косяки. Так и передай этим уродам.

– Хорошо, – футболист смущенно улыбается, пожимает плечами и откидывается на спинку стула. – Но они хотят поговорить, понимаешь? Имеют право. Если у тебя что-то застряло – лучше верни по-хорошему.

– Ага, – участливо кивает Катя. – Разбежалась со всех ног. И волосы по ветру.

– А вот хамить, Катя, не надо...

– Я вам не мешаю? – говорю.

– Ты же знаешь, я всегда тебе помогаю, – говорит футболист, садясь к ней вполоборота и не обращая на меня никакого внимания. Улыбка на его лице пропадает. – Между прочим, все уже знают, что ты здесь. Господи! Нашли, где поселиться! Тут же всё как на ладони.

Он поворачивается к столу, и его широкая ладонь резко опускается на скатерть с тяжелым стуком. Рядом с нашим столиком тут же вырастает официант:

– Desserts?

– Ноу! – резко отвечает Катя, не поднимая взгляда, и официант исчезает так же внезапно, как появился.

– Вы вообще о чем думали?! – начинает заводиться футболист. – Могли бы просто...

– Так, ладно! – отвечает Катя неожиданно громко. Она поднимается со своего места и встает во весь рост. – Знаешь что? А ну-ка доставай телефон!

– Чего?

– Ничего! И ты тоже! – Катя поворачивается ко мне.

– Я-то, – говорю, – тут при чем?

– Делайте оба чего сказано!

Мы с футболистом обиженно достаем телефоны.

– Так, мальчишки... достали? Супер! А теперь удалите-ка мой номер! Оба! Чтоб я видела! Ага... вот так. Молодцы! – Она садится обратно, берет в руки вилку и нож и снова принимается за стейк.

Футболист сует телефон в карман, поднимается, снимает пальто с вешалки, влезает в рукава, потом медленно, не сводя глаз с Кати, застегивает пуговицы, одну за другой. Укоризненно качает головой.

– Мое дело – предупредить, – произносит он наконец. На его загорелом лице снова появляется прежняя улыбка. Катя ставит локти на стол и соединяет вертикально ладони, подперев большими пальцами подбородок.

– Спасибо, дорогой...

– Ладно, – вяло улыбается он. – Когда теперь увидимся-то?

– Увидимся... – Катя опускает левую руку, отводит правую от лица и быстро перебирает пальцами в знак прощания.

– Тогда пока, ребята! Бай! – он разворачивается и идет к выходу.

– И тебе – бай, – произносит Катя, но почему-то еле слышно, словно обращаясь к самой себе.

Всю дорогу обратно до отеля мы оба молчим. Заходим в номер. Я снимаю куртку, встряхиваю ее, сбрасываю ботинки. Катя сразу же берет пульт, включает телевизор и как есть, не раздевшись, прямо в уличных туфлях падает спиной на постель. Некоторое время лежит молча, а потом вдруг сообщает:

– Завтра же переезжаем в район Виктории!

– Катя, а зачем тебе было нужно, чтобы я удалил твой номер?

Молчит. Стряхивает на пол туфли. Растопыривает пальцы на левой руке и начинает внимательно разглядывать ногти. Они длинные и ярко-красные.

– Катя?

– Есть такая пословица, милый: меньше будешь знать – дольше проживешь.

По телевизору идут европейские новости. Такое впечатление, что они тут идут круглые сутки. На экране – центральные улицы Барселоны: толпы людей шагают колоннами, размахивают каталонскими флагами и что-то хором кричат. В различных регионах европейских стран, комментирует ведущий, отмечается рост сепаратистских настроений.

– Тебе что-то угрожает?

Она вздыхает, неопределенно кивает и начинает переключать каналы.

– Это все из-за Витиных денег?

– Да... из-за Витиных денег, – отзывается она.

Дю Морье, как видно, была права: мертвые куда опаснее живых.

– Может, лучше отдать?

– Заткнись!

Мне становится не по себе. Опускаюсь в кресло. Доигрался! Это только со мной такое бывает: приехал в Европу – и тут же угодил в какие-то русские разборки. Теперь вместо несостоявшегося психологического романа будут детективные догонялки. Надо поскорей отсюда сматываться. Пусть сама выплывает. Я ей не нянька, в конце концов. Таскается, понимаешь, везде, по парижам, трахается направо-налево, а у меня проблемы!

– Что-то, – говорю, – Гвоздев твой давно не звонил, а?

Катя поворачивает голову и смотрит на меня с нескрываемым презрением.

– Катя?! – я повышаю голос. – Чё вообще происходит?!

Она выключает телевизор, вздыхает и отворачивается.

- Знаешь что? - говорю. - Мне все это осточертело! Слышишь?! Эти тайны! Этот твой... Откуда этот хмырь вообще взялся?! Ты с ним что, трахалась?!

Катя ложится на бок, подпирает рукой подбородок и начинает разглядывать меня с интересом.

- Какой еще хмырь?

- Футболист этот... - прежняя решимость меня покидает.

- Мне надо...

- А мне плевать, - огрызаюсь я на всякий случай, - что тебе там надо!

Катя поднимается и смотрит на меня в упор.

- Ну чего ты разорался ни с того ни с сего?

- Это я разорался?

- Ну не я же... - Катя вздыхает, снова опускается на кровать, подкладывает ладони под голову и закрывает глаза.

- Катя!

- Ну что? Что ты хочешь? Ты же... ты же ничего не знаешь. - Катя открывает глаза и поворачивается ко мне. - Обидно, да? Облом-то какой! Мальчику подарили куклу из магазина "Сексуальный кролик" - чтобы поиграться, а она сломалась! - Катя подносит к правому виску указательный палец с длинным ярко-красным ногтем и спускает воображаемый курок. - А ты, дорогой, вообще в курсе, что у меня есть дочь?!

- Как дочь?

– Ой, – она морщится. – Давай только, милый, без этого, без соплей. Давай ты лучше мне про мою задницу опять расскажешь – у тебя хорошо получается...

– Как дочь? – я поднимаюсь с кресла и очумело смотрю на нее. – А чего ты раньше-то не говорила?

– Ой, ну можно подумать, тебе интересно...

– И где она сейчас?

– Какая разница? У матери!

Я беру в руки пульт, включаю телевизор и сажусь обратно. На канале – очередной раз одна и та же реклама кредитной карты. Мол, пользуйтесь, иначе потеряете контроль над временем и пространством. Как будто с картой мы и в самом деле этот контроль сохраним.

Маленький белый мальчик заходит в зоомагазин; пожилой черный продавец выносит клетку с двумя кроликами, ставит ее на прилавок и торжественно открывает. Кролики поочередно вылезают наружу. Мальчик осторожно гладит сначала одного, потом другого и, порывшись в кармане, протягивает продавцу купюру. Черный продавец долго, сосредоточенно ее изучает, подносит на свет: не фальшивая ли? Видимо, он подслеповат. На прилавке тем временем оказывается уже три кролика. Черный продавец неспешными движениями открывает ящик кассы, смотрит туда, а потом поднимает глаза на ребенка. Его взгляд исполнен такой мудрости, такого величия, что, кажется, он сейчас процитирует книгу пророка Иезекииля.

– Сдачи нет! – произносит он, наконец поворачивается и ковыляющей походкой отправляется вглубь магазина, искать, по всей видимости, сдачу где-то там.

– А мать где?

– Чего пристал, а?! – Катя приподнимает голову и сердито на меня смотрит. – Дома, где ж еще? Я им деньги пересылаю.

Она откидывается обратно на спину и закрывает глаза. Снова показывают прилавок – кроликов уже пятеро. Проходит время. Мальчик терпеливо ждет. Попеременно показывают то его, то прилавок, где кроликов с каждой минутой становится все больше. Их столько, что они уже не помещаются на прилавке и спрыгивают на пол.

– Я устала, – грустно произносит Катя.

Черный продавец чем-то гремит в подсобке. Мальчик возле прилавка ковыряется в носу. Кролики нервными, неритмичными прыжками перемещаются по полу, толкают стеклянную дверь, вылезают наружу, на площадь. Это все напоминает тихий, прирученный кошмар. Черный продавец появляется у прилавка и протягивает мальчику сдачу. Мальчик растерянно оглядывается. Кролики заполняют всю площадь.

– Прости, – говорю я, когда реклама заканчивается и кролики вместе с продавцом и мальчиком исчезают. – Я подумал, что ты с этим футболистом... Короче, что ты... его любовница.

– Ты дурак... Ну, было... Мало ли с кем у тебя и у меня было... Он однажды мне очень помог, понимаешь? Я думала, и сейчас поможет. Не хотела тебя впутывать.

– Почему?

– Опыт имеется, знаешь ли... – она горько усмехается и открывает глаза.

– Какой опыт?

– Ложись... – она хлопает ладонью по постели.

Ладно. Ложусь рядом, на бок, и, подперев рукой голову, демонстрирую готовность ее внимательно слушать.

– Понимаешь, – говорит она тихим голосом, у нее на глазах появляются слезы, – такое чувство, будто все повторяется... все по кругу... Я боюсь... За себя, за тебя... за нас...

- Чего боишься, я не понимаю? Что нас найдут?

- Ну да, и это тоже... но будет еще хуже, если ты мне станешь противен...

- Я ведь тебе говорила! Ладно, не бойся. В номер не сунутся... Ну... по идее... не должны.

- По идее? - мой голос дрожит.

- Будут, наверное, ждать, пока мы сами к ним не выйдем.

Катя в джинсах и розовой блузке сидит на постели по-турецки, раскачивается всем телом, покусывая палец на правой руке.

- Надо было вчера валить... Вот я дура...

Растерянность, которую я сейчас наблюдаю, - очень редкий гость на ее физиономии, и от этого становится не по себе.

- А может, это просто... случайные парни, а?

- А может быть, корова, а может быть, собака, - задумчиво произносит Катя, не глядя в мою сторону, и добавляет со злым ехидством: - Случайные русские парни, в девять утра. В гостинице в Хемпстеде. Милый, включи мозги! Ты хоть запомнил, как они выглядели?

- Нет.

- Нет, - передразнивает она. - Зато они наверняка тебя запомнили. Как я могла быть такой дурой?!

- И чего теперь делать?

- Посидим, короче, пока полчаса в номере...

Полчаса назад мы пошли на завтрак. Его накрывают обычно во втором зале, стилизованном под кают-компанию. А в первом – тоже едят, но только по вечерам. Там стойка регистрации, там всегда на вахте менеджер, один и тот же пожилой джентльмен. Около стойки Катя вдруг резко развернулась и ринулась обратно к лестнице, прошипев сквозь зубы:

– За мной... быстро!

– Чё случилось? – спросил я недовольно, когда мы снова оказались в номере. Мы только что позанимались любовью, и я очень рассчитывал поесть.

– Мы попали... – она с размаху села на кровать. – Одного не понимаю... как они нас нашли? Вернее – меня... Ты-то им нафиг не нужен.

– Кто “они”?

Она с досады махнула рукой:

– Да эти уроды... Которые Витю убили.

Мертвые иногда опаснее живых.

В горле сделалось сухо. На спине и на руках холодом стянуло кожу. Захотелось лечь на кровать, прямо так, в чем есть, спрятаться под одеяло, и будь что будет. “А Катя, – подумалось мне, – пусть как-нибудь там сама выкруливает...” Я подошел к двери удостовериться, что она как следует заперта. На два оборота. Удостоверился.

Катя поднялась с кровати и пересела в кресло.

– Это Игорь? – спрашиваю.

– Не, – она морщится. – Игорь вряд ли.

– Точно он, – говорю.

- Да нет же! - Катя раздраженно хлопает ладонью по деревянной ручке кресла. - Он, наоборот, предупредил - мы ж тут как на ладони...

- Ладно... Чё делать-то будем? - спрашиваю.

- Чё делать? Валить отсюда...

- Как? У нас вещи. Далеко не убежим. У тебя вон чемодан...

- Да, - Катя машет рукой, - черт с ними, с вещами. Потом позвоним, назовем адрес, куда подвезти. Как ты думаешь, тут есть другой выход?

- Чего? - от волнения мне никак не сосредоточиться.

- Выход, говорю, другой есть?! - повышает голос Катя. - Дорогой, ты что, оглох?!

- Выход? Сейчас спущусь...

- Ты совсем идиот? Давай знаешь что? Вызовем этого, черного... который тут убирается, и спросим.

- Филиппинца?

- Да пофиг, кто он...

- А как... вызовем? - я стараюсь бодриться, но в собственном голосе различаю уныние.

- Блин... - Катя морщится. - По телефону вызовем, типа комнату убирать.

- Так у нас же всё вроде чисто?

Катя начинает внимательно оглядывать комнату.

- Ну, так сейчас будет грязно.

Она открывает сумочку, стоящую на столике, достает тюбик с тушью и быстрыми движениями начинает размазывать тушь по белой подушке.

- Вот, - говорит она, - не отрываясь от своего занятия. - Было чисто - стало грязно. Звони!

Иногда я поражаюсь ее сообразительности. Набираю ресепшн, трубку берет менеджер, сбивчиво объясняю, что нечаянно запачкал подушку, что прошу заменить. Зачем-то долго извиняюсь. Катя, пока я произношу на ломаном английском свою речь, устало вздыхает.

Минут через пять раздается стук в дверь.

- Спроси кто! - шипит Катя.

- Ху ю?! - громко спрашиваю я. Катя, сделав бешеное лицо, крутит указательным пальцем у виска.

В коридоре - глухое лопотанье на английском. Быстрым движением открываю дверь. На пороге стоит филиппинец. Молодой смуглый парень невысокого роста, тот самый, с которым Катя многозначительно переглядывалась, когда мы заселялись в гостиницу. В руках держит белую наволочку. Жестом приглашаю его войти.

- Here it is, - я показываю на перепачканное Катей белье. - You may take it away. We're sorry and ready to pay the expenses[6 - Вот, можете забрать. Мы готовы заплатить за ущерб (англ.)].

- Блин, про выход спроси, - злобно шипит Катя, одновременно приветливо улыбаясь филиппинцу. Как это у нее получается?

Филиппинец отрицательно качает головой. Нет, денег никаких не нужно. Он еще чем-нибудь может помочь? Я спрашиваю, есть ли в гостинице, кроме главного выхода, какой-нибудь другой, запасной. Есть. Я так и знал. Выход всегда есть.

- Where are you from?[7 - Вы откуда? (англ.)] - улыбается филиппинец.

Сейчас, думаю, как раз самое время об этом поговорить.

– Russia, – отвечаю и чувствую, что тоже улыбаюсь во весь рот, хотя на самом деле хочется вопить, истерить и бросаться с кулаками на стену. – Видите ли, мы с моей girlfriend, – я показываю на Катю, – очень хотим побыть вдвоем. Очень. У нас романтический месяц. А там внизу, в ресторане, – наши друзья.

Представляете? Они нас увидят – захотят с нами погулять, а нам хочется побыть вдвоем.

– Может, ему денег дать? – вмешивается Катя. Ей, насколько я понимаю, не терпится расшевелить некоторую несообразительность нашего собеседника.

– No problem, sir, – приветливо говорит филиппинец. – Там у вас на связке есть два ключа. – Не дожидаясь разрешения, он наклоняется и берет с журнального столика наши гостиничные ключи. – Этот – от главного входа. Видите? А вот этот, маленький (little key), – от запасного. Им можно воспользоваться, если возвращаетесь поздно, после полуночи. Запасной выход – налево от ресепшна. В помещение ресторана заходить не надо.

Улыбнувшись, он выходит, не забыв на прощание поклониться. Мы снова остаемся одни. Но теперь в комнате становится как будто светлее. Если долго живешь в Лондоне, то очень скоро приобретаешь удивительную способность незаметно исчезать или выкручиваться из любой ситуации. Все лондонцы умеют выкручиваться. Взять хотя бы того же Джека Шеппарда... Лондон – видимо, в силу одержимости древним морем, – располагает своих обитателей к желанию спастись куда-нибудь, сохраниться, сбежать, благо вокруг всегда есть густая толпа, чтобы в ней раз и навсегда раствориться.

– Ты деньгихватила? – Мы с Катей уже спускаемся по лестнице.

– Тихо! – шепчет она; указательный палец на правой руке с длинным ярким красным ногтем взлетает вверх. – И деньги, и паспорта.

Вот заветная дверь. За ней – наше спасение. Теперь главное – вырваться отсюда. Меня шатает, будто во время шторма. Руки дрожат, и ключ не сразу попадает в замочную скважину.

Готово! Мы выскакиваем на улицу и бросаемся в ближайший переулок. Два уже не очень молодых человека: красивая женщина с глазами болотной ведьмы, вывороченными губами, в черном парике, одетая в джинсы и спортивную куртку, и сопровождающее лицо мужского пола в нестираном темном пуховике. Полный розовощекий англичанин в синем пальто, выгуливающий лабрадора, шарахается в сторону.

Боковым зрением сквозь витрину я замечаю, что в кафе начинается движение: кто-то вскакивает со своего места, кто-то взмахивает руками. Или это мне кажется? На выяснение подробностей времени нет. Надо бежать, спастись! Блин, как же страшно... Пробегаем короткий переулок, сворачиваем в другой, потом – в третий.

– Вон, давай туда! – Катя толкает меня в спину, хватая за локоть и тянет в сторону пластиковых мусорных баков, огромных, синего цвета, которые выстроились у высокого по здешним меркам, в человеческий рост, каменного забора. Баки придвинуты неплотно, между ними и забором – небольшое пространство, вполне достаточное для двух разнополых человеческих особей среднего возраста и среднего размера, чтобы разместиться. Протискиваемся туда.

– Пригнись! – командует Катя. У нее сбилось дыхание. У нас у обоих сейчас сбилось дыхание. Кивнув друг другу, опускаемся на корточки. Будто погружаемся в воду. Со стороны улицы нас не должно быть видно.

– Господи, – едва слышу собственный шепот. Сердце колотится как сумасшедшее. – Катя, меня сейчас вырвет.

Катя осторожно прикладывает к губам указательный палец с длинным ярко-красным ногтем. Напоминает светофор откуда-то из детства. Улицу переходить нельзя. Если красный свет – стоим смирно, держим маму за руку. Загорится зеленый – пойдем. Я давно стал замечать, что страх вызывает в голове странные, смешные картинки.

Тяжелый топот. Бегут в нашу сторону. По всей видимости, двое. На ходу негромко переговариваются. Вот сейчас, думается мне, действительно будет смешно, обхохочешься. Черт... совсем рядом. Когда я в бурном море плавал, и мой корабль пошел ко дну... Хочется крикнуть. Катя резко вырывает руку и

встряхивает ею – видимо, я слишком сильно ее сжал. Топот приближается. Мы стараемся не глядеть друг на друга и не дышать. Накатывает волна оцепенения. Хорошо бы выйти навстречу, сдаться им, лишь бы весь этот кошмар поскорее закончился. Я зажимаю руками уши, а глаза закрываются сами.

Мне вдруг на секунду представляется бескрайняя каменистая пустыня где-то в Америке, куда мы наконец ото всех сбежали, и Манон Леско, вернее, Катя, лежащая на голой земле в красном плаще, перехваченном по парижской моде черным поясом. Над нашими головами кружат коршуны. Слабым голосом Катя повторяет, что наступает ее последний час. Я отвечаю нежными уверениями в любви, сжимаю ее руки, но они уже холодеют, и через мгновение, миновав неаппетитные подробности агонии, Катя отдает Господу свою грешную душу. Я исполнен решимости предать ее тело земле, сотворить молитву и дожидаться смерти на ее могиле. Беру лопату, преодолевая слабость, свершаю скорбный труд, а потом опускаю в холодное земляное ложе кумир моего сердца.

Катя толкает меня в бок локтем, и когда я осторожно открываю один глаз, весело показывает подбородком – выгляни. Слегка приподнимаюсь над мусорными баками – ноги затекли и с трудом разгибаются. Взгляду открывается узкая улочка, зажатая каменными заборами, и удаляющиеся легкой спортивной трусцой две худые мужские фигуры, очень пожилые, слегка дряблые, с голыми ногами, в одинаковых спортивных трусах и майках. На спинах – большие номера: 11 и 3. Катя поднимается вслед за мной:

– Милый, ты бы сейчас видел свое лицо. – Она толкает меня легким движением плеча.

Мне вдруг приходит в голову мысль, что, если бы это все был фильм, зрители ушли бы разочарованными.

– Слушай, – говорю. – А может, те двое, в ресторане, тоже... ну, по другому делу, а?

Катя вздыхает и качает головой.

– Скорее всего. Но этого, дорогой, уже никто никогда не узнает.

– Господи, – говорю, – а мы-то...

– Знаешь, – Катино лицо делается серьезным. – Береженого бог бережет. Давай-ка в гостиницу больше не пойдём и на метро тоже садиться не будем.

Минут через двадцать мы выбираемся из лабиринта переулков и выходим на широкую трассу, по которой шумно течёт транспорт. Катя поднимает руку, и рядом с нами тут же тормозит чёрное такси. Мы забираемся внутрь, в пахнущий старой кожей салон. Пожилой водитель кивает нам, очень церемонно, словно он капитан корабля.

– Виктория Стейшн! – командует Катя и хлопает дверью.

Водитель ещё раз кивает, и такси трогается. Мимо нас начинают медленно проплывать каменные и деревянные заборы, аккуратные кирпичные домики, церкви, витрины магазинов, фонари, плоские скамейки, похожие на плоты, стоящие посередине тротуаров. Нас обгоняют автомобили, мы кого-то обгоняем, движение постепенно ускоряется...

Катя достаёт из сумки крошечное зеркальце и начинает внимательно разглядывать свои губы. В этот самый момент у меня в кармане начинает звонить телефон.

– Ты с ума сошёл?! – она злобно швыряет зеркальце в раскрытую сумочку. – Не отключил, что ли?!

Вообще-то телефон я включил только что, когда мы вышли на трассу. Но оправдываться нет сил. Смотрю на дисплей. Это снова Гвоздев. Действительно, что-то его давно не было.

– Алё, – говорю я в трубку, стараясь придать голосу саркастичность. – Чего не звонил-то? Мы уже соскучились по тебе.

– Ну так чего? – спрашивает Гвоздев. – Ты решил? Приедешь?

Он хрипло смеётся. Я тоже невольно улыбаюсь.

– Ладно, Лёня... Я подумаю.

– А чего тут думать? Приезжай! Билеты пополам, так уж и быть.

Катя вырывает у меня телефон и громко кричит в него:

– Гвоздев! Слышишь меня? Иди к черту!

Потом сбрасывает звонок.

– Катя! – я отбираю телефон назад.

Водитель, полуобернувшись на нас, четко произносит:

– Are you ok?[8 - У вас все в порядке? (англ.)]

Ощущение реальности постепенно возвращается.

– Как в кино, – говорю я, больше даже себе, чем Кате. – Блин, как в настоящем чертовом кино. За нами гонятся, а мы спасаемся.

Такси резко останавливается на светофоре. Я выглядываю в окно. Несколько красных двухэтажных домов, прижавшихся друг у другу, и чуть поодаль небольшая церковь с длинным, острым как шприц шпилем. В нее, не спеша, заходят прихожане.

– Ага, – отзывается Катя, – как в кино. Есть что вспомнить.

Она достает из сумки телефон и начинает сосредоточенно набирать чей-то номер.

Глава 3. Чемоданчик

Самолеты, ежели они из-за границы, встречают совсем не так, как поезда. Пассажиры поездов, всегда сонные, растерянные, растрепанные, вылезают на перроны неуклюже, путаясь в тюках, тележках, чемоданах, и, спотыкаясь друг о

друга, огрызаясь, бредут по платформе, волоча свои жалкие пожитки. Они – обычные люди, ничем не хуже и не лучше других. Из той же горизонтальной будничной геометрии параллельных и перпендикулярных линий, что и все остальные. Их и встречать-то не хочется. А ежели встречаются, то между делом, сочувственно, наспех оглядывают, снисходительно похлопывают по плечу и уводят поскорее прочь из вокзальной сутолоки.

Другое дело – пассажиры самолетов. К ним сразу не допускают. Их предписано ждать в специально отведенных местах за металлическими ограждениями или возле огромных стеклянных дверей, которые торжественно сходятся и расходятся, как Симплегадские скалы. Встречающие всегда стоят стадом, но поодиночке, не толкаясь и не мешая друг другу. Их лица полны восторга и благоговения. Они робко окликают тех, кто выходит: “с какого рейса”, “откуда”, – и те в ответ небрежно роняют слова, словно сбрасывают с плеч барскую шубу в руки подбежавшего расторопного лакея: “из Бостона”, “из Парижа”, “из Ниццы”, “из Барселоны”. Они – будто боги. В их походке еще различается неземная легкость, в глазах – облака? и синева небес.

Мысль о том, что сейчас я шагаю среди избранных, приятно согревает душу. Спустившись вместе со всеми по эскалатору, я двигаюсь мимо рекламных щитов, мимо пластиковых дверей, мимо изящных металлических плевательниц, мимо застывших на своих местах охранников, мимо огромной, в человеческий рост, вазы, прямиком к паспортному контролю. Модные мартинсы, кожаная куртка, винтажный рюкзак, небрежно закинутый на плечо, – я очень нравлюсь самому себе. Причем настолько, что весь мой лондонский анабазис куда-то уходит, делается тише. Окружающие звуки, топот каблуков, обрывки фраз, сигналы телефонов тоже приглушены – в самолетах у меня всегда закладывает уши. Сейчас я круто разделаюсь с паспортным контролем, заберу багаж и явлюсь этому морю лиц, восторженных, благоговеющих. Если спросят откуда – небрежно брошу “из Лондона”, потом сяду в одинокую маршрутку и поеду на ней к метро. Резкий телефонный звонок сбивает мои мысли.

Гвоздев. Сейчас опять зарядит какую-нибудь чушь.

– Привет. Долетел?

– Нет, Гвоздев, – говорю. – Ну что ты! Какое там “долетел”! Я еще в воздухе. Видишь, телефон отключен.

- Ну да, ну да, - торопливо говорит он. - А ты, короче... это... багаж забрал?

- Нет еще.

- Нет?

- Нет, нет. А что?

- Не, я так... А скажи, пожалуйста, - голос его звучит неуверенно. - Джек тебе с собой ничего не передавал?

- Чего передавал?

- Ну, там, короче, таблеток, например? Или...

- Да вроде нет...

- Ну, слава богу!

- А, точно. Передавал.

- Да? - Гвоздев досадливо щелкает языком на том конце трубки. - Что передавал то?

- Ерунда там. Лекарства какие-то.

Я встаю на ступеньку эскалатора, который тянет меня вниз.

- Ну, какие лекарства? - не отстает Гвоздев. - Чё, сказать трудно?

- Слушай, Лёня, это сейчас так важно, да? - я понижаю голос. - Ну, свечи от геморроя. Доволен?

- Черт, - в голосе Гвоздева досада. - Черт! Черт! Вот я дебил!

– Лёня, – я опускаю руку на поручень эскалатора и стараюсь придать своему голосу рассудительность. – Не горячись. Не всё так плохо. Не такой уж ты и debil на самом деле. Это я тебе как друг говорю... Успокойся. Подумай о том, что ты хороший художник, что тебя смотрят, покупают.

Ребристые ступени постепенно снижаются, сжимаются, уходят в пол под блестящий металлический гребешок, и я делаю шаг с эскалатора.

– Короче, – серьезно говорит Гвоздев. – У нас проблемы...

– Что такое-то?

– А то, дорогой, что это не свечи от геморроя...

– Это не чай... – на лице Петра Алексеевича появилась добрая улыбка, удачно сочетавшаяся с его круглым смешным носом, мясистыми щеками, выбритыми до синевы, и веселыми татарскими глазами.

– А что же тогда? – удивился я. Мне вдруг почему-то стало весело и легко. – Вон чайники ведь сверху плавают.

Мы сидели на кафедре, в закутке, огороженном двумя книжными стеллажами. Такие закутки еще встречаются в старых вузах. Кафедральный закуток – это святая святых, райский уголок, который не хочется покидать, заповедная зона, куда начальство и студенты никогда не заглядывают. Что-то вроде молитвенной кельи или комнаты отдыха, где преподаватель может перевести дух, прийти в себя, поболтать с коллегами или попить чай. А потом с новыми силами вернуться в тягостный мир лекций и семинаров.

Место было тесным, и здесь помещались только два продавленных кожаных кресла и низкий, похожий на таксу журнальный столик, на который Петр Алексеевич выставил передо мной красный китайский термос.

– Это не чай... – улыбнулся он и поднес к губам указательный палец.

С Петром Алексеевичем мы познакомились несколько лет назад, когда он читал у нас на филологическом факультете лекции по марксизму-ленинизму. Читал самозабвенно, расточительно, не экономя сил, читал так, что даже набившие оскомину Маркс и Энгельс порой казались нам ангелами, спустившимися на грешную землю. Я часто подходил к нему после лекций, задавал вопросы и заранее знал, что этот профессор с пухлым добрым подбородком и смешно растрепанными длинными седыми волосами непременно снизойдет до моей наивности и все объяснит. Петр Алексеевич, оборотившись и слегка согнув шею – он был выше меня на целую голову, – неизменно отвечал, всегда с кроткой улыбкой, обстоятельно, так, чтобы я обязательно понял. Мне нравились его объяснения. Они открывали новые невыясненные умственные территории и поселяли во мне ощущение легкого беспокойства. Однажды я набрался храбрости и напросился к нему на занятие, которое он вел у себя на философском факультете. Занятие – это был семинар – сразу захватило меня, и я принялся туда регулярно ходить, слушать доклады студентов, слушать его мягкие сочувственные комментарии, которые всё вокруг себя заряжали новым смыслом: и произнесенные прежде слова, и усталые старые столы, изувеченные шариковыми ручками, и ломаные стулья, и пыльные занавески, и гудящие электричеством лампы.

Помню, какая-то философская девушка, нечёсаная, сутулая как креветка, делала доклад об эстетике Китса, о тех мыслях, которые Китсу приходили в голову в Хемпстеде, и заговорила о высоком и вечном в искусстве, о навсегда застывших фигурах на старой греческой вазе, чьи оригиналы давно сгнили и рассыпались в прах. Все согласились, как по команде, закивали, зададали, застучали звонкими согласными звуками, да, мол, да-да-да, мол, заблеяли, оно ве-ве-вечно, это искусство, – но Петр Алексеевич почему-то качал головой и, когда очередь дошла до него, задумчиво поскоблил ногтем свой пухлый подбородок, а потом стал тихо, с доброй кротостью судить, что всё совсем не так, что вечное не на стороне искусства, и что думать иначе – опасно. Искусство, уверял он нас, рукотворно и насквозь проникнуто человеческими усилиями, которым предписано поражение, если не сейчас, то потом. А из этого следует, говорил он, что искусство недолговечно, непрочно, низко – и потому в своем притязании на окончательность, на вечность, высоту глубоко трагично. Потом он заговорил о Лютере – он часто говорил о нем, но в тот раз почему-то особенно горячо – и от Лютера перешел к Христу. Он объявил нам, и его нос смешно при этом дергался, что Христос и есть Бог, который снизошел до человеков – и для этого предстал не в красоте, не в знаках небесного величия, а в земной скудости, в человеческой слабости, в страхе, чтобы понять и быть понятым, чтобы принять самую позорную из всех казней, всех смертей, и взвалить на себя

наши грехи. Он вдруг прослезился, и меня поразило услышанное, будто кто-то ударил в спину, так же, как после, много лет спустя, меня поразило, когда он заговорщицки произнес: “Это не чай”.

В тот раз я явился к нему на кафедру с твердым намерением выяснить, что такое “мужество быть” и почему нельзя “просто быть”, безо всякого на то мужества. Петр Алексеевич выглянул из закутка растрепанный, попросил подождать (“Вот здесь, Андрюша, посидите, за столом”) – у него важный разговор с коллегой. Пока они разговаривали за шкафом, я разглядывал стол и читал надписи, которые после себя оставили студенты-философы.

“САРТР – ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПИДОР” —

гласила одна, самая крупная. Слева от нее присутствовала целая дискуссия, столкнувшая, по всей видимости, сторонников и противников российских либеральных реформ:

“ЕЛЬЦИН – УРОД!”

“ТОЧНО!”

“СОСАТЬ ТЕБЕ СОЧНО!”

Ниже отметились студенты, чьи мысли, вероятно, больше занимала учеба, нежели политика:

“КАНТ – РОЖА!”

“ГЕГЕЛЬ – ТОЖЕ!”

“А ВЫ – ДВА ПРИДУРКА —

НИ РОЖИ, НИ КОЖИ!”

Там были еще надписи – старые, стёршиеся, накарябанные, возможно, в восьмидесятые или даже в семидесятые годы. Я начал их разбирать, но тут меня позвал Петр Алексеевич. Когда я зашел в заповедный закуток, он, нагнувшись, рылся в портфеле.

– Садитесь, Андрюша...

Я был счастлив, что могу, наконец, с ним поговорить, стал садиться в черное кресло, низкое, продавленное, – и вдруг, едва не потеряв равновесие, резко плюхнулся в него, словно рухнул в гадкие мысли посреди возносимой небесам молитвы.

– Вот, – Петр Алексеевич достал из портфеля небольшой ярко-красный, словно рдеющий стыдом термос, поставил его на журнальный столик, отвинтил от него крышку и налил в нее.

– Спасибо, я чай не буду.

– Это не чай... – улыбнувшись, сказал он. Его веселые татарские глаза хитро сузились.

– А что же тогда? – понизив голос, удивился я. Стало весело и легко. – Вон чайники ведь сверху плавают.

– Это не чай! – повторил он с добродушной настойчивостью и поднес крышку к моему лицу. В нос ударил крепкий запах портвейна.

– Только без паники! – веселым шепотом предупредил Петр Алексеевич, увидев мою испуганную физиономию. – А чайники – это для конспирации. Понимаете?

Мы выпили из крышки, сначала я, потом он. Что-то стали обсуждать. Я задавал вопросы – он отвечал. Но понимания, которого я ждал, между нами всё не возникало, и вообще никакого понимания не возникало. Однако ощущение

веселости и легкости сохранялось. Петр Алексеевич говорил рассеянно, невпопад, путался в словах, как спросонья путаются в одежде. Скоро и мне передалась его рассеянность. Я вдруг вспомнил, что дома нет ужина, и нет вообще ничего: ни еды на завтра, ни чистых простыней, ни телевизора, чтоб посмотреть. Есть только окурки и невымытая со вчера посуда. Ну и пусть... Портвейн наполнил голову вялостью и глупым благодушием.

- Тут у меня история случилась, вернее - не случилась, - неожиданно со смехом поделился Петр Алексеевич. Он поправил свои растрепанные волосы. Я всем видом выразил готовность слушать. - Решил тут студентку соблазнить. Понимаете?

Я кивнул, изобразив на лице понимание. Он только рукой махнул:

- Да что вы в этом можете понимать?! Вы - молоды, вам и так все калитки открыты. В общем, - он хмыкнул, - понял я, что она согласна, и пригласил к себе домой. Ну, разумеется, приготовил заблаговременно две бутылки вина. Сидим, понимаете, разговариваем, винцо потягиваем. Проходит час. Надо, говорю себе, Петр Алексеич, действовать решительнее. Повел ее в кабинет, где диван, ну, вы были у меня, помните.

- Не-е, - я помотал головой и вдруг почувствовал, что сильно пьян. - Не был.

- Эк вас развезло, Андрей. Сейчас поищу... - он полез в портфель, стоявший на полу. - Где-то у меня... бутерброд.

- Да ладно, - отмахнулся я.

- Нет, не ладно, - сказал он. - Сейчас вас внизу охранники остановят, в сумке начнут рыться. О, вот. Берите. Берите, говорю. С сыром.

- Спасибо.

- Я продолжу, если позволите. Пошли мы в кабинет, а у меня там портрет Бердяева висит. Там он такой одухотворенный на портрете. Она как увидела - нет, говорит, при Николае Александровиче не буду. Я ее и так и эдак. Чуть не со слезами. Она - ни в какую, не снизошла, как говорится. Не буду, понимаете, и

все тут. Снимайте. А портрет высоко висит – у меня потолки-то ого-го, старый фонд; пока к соседу ходил за стремянкой, пока снимал портрет, еще хотел чего-то, а как спустился с этим портретом вниз – чувствую, что расхотелось.

Я слушал его и жевал бутерброд. Он мне показался совершенно пресным. Сильно кружилась голова.

– А экзистенциалисты эти ваши... – продолжил он. – Да какие они, к лешему, экзистенциалисты. Без Бога, без судьбы, пронизывающей болью... Ну, как вам моя история?

Я был не в том состоянии, чтобы осмысленно реагировать на “его историю”. Только кивнул и всё. А дальнейшее – все как-то было смутно. Помню, спустился на первый этаж, почему-то один, и меня в самом деле остановил охранник. У него были густые золотистые усы и огромное обручальное кольцо на жирном пальце. Он что-то спрашивал, я не понимал что. Смотрел на него невинными пьяными глазами и улыбался. Наконец понял: надо предъявить сумку в раскрытом виде – на факультете участились случаи употребления наркотических средств. Охранник отвел меня к своему столу, долго копался в сумке толстыми пальцами, доставал и возвращал на место ее содержимое: “Теология” Пауля Тиллиха на английском, складной зонтик, тетрадка в клеточку, запечатанная пачка презервативов. Потом разочарованно кивнул и велел уматывать пока, он не вызвал патруль.

– Черт! Я думал, ты уже умотал оттуда, – раздраженно произносит Гвоздев. – Черт! Черт! Короче... там у тебя в чемодане – это не свечи.

ВНИМАНИЕ! СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ РЕЙС 153

АВИАКОМПАНИИ “ФИНЭЙР”.

ХЕЛЬСИНКИ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

– А что же там? Золото-брильянты? – я почти смеюсь. Гвоздев всегда умеет насмешить. Выхожу вместе со всеми в длинный коридор, стены которого скрыты огромными рекламными плакатами. Впереди паспортный контроль, потом ожидание багажа. Общее ощущение – как после болезни. Будто ты окончательно вернулся в свое собственное тело. Вокруг земные звуки – гулкий ритмичный стук шагов, громкая разноязычная речь, телефонные звонки.

– А то самое, дорогой, чем он тебя угощал, от которого рай на земле делается. Вот что... слушай меня внимательно.

– Ладно, – говорю, – Лёнька, кончай прикалываться. Мне сейчас некогда. – Я перекидываю рюкзак на другое плечо и неторопливо иду к кабинкам паспортного контроля.

– погоди, – говорит Гвоздев, – трубку не вешай. Послушай меня... Джек в эти пластины для геморройных свечей гашиш запаковывает. Понял теперь?

Я останавливаюсь и замираю на месте.

– Ты шутишь...

Мимо проходят пассажиры, кто-то задевает мой рюкзак. Я стою с телефоном, прижатым к уху, и беспомощно оглядываюсь по сторонам. Перед глазами рекламный плакат нидерландской авиакомпании – круглая в полстены физиономия молодой модельной стюардессы. Мой взгляд сразу выцепляет улыбающиеся губы в ярко-красной помаде, они тут же уплывают на второй план, пропадают, остается напoмаженная улыбка, а потом и вовсе только один цвет от помады, предостерегающий, ярко-красный.

– Чего делать? – говорю. – Да я ж не виноват... Откуда мне знать...

– Ну их, короче, это не очень волнует, что ты там знаешь или не знаешь. Каждый охотник должен знать, где сидит фазан.

– При чем тут фазан? – говорю.

– А чего ты не спрашиваешь, при чем тут охотник?

– Лёня!

– Чего “Лёня”?! Каждый пассажир, короче, должен знать, что он с собой везет. Закон такой.

Я поднимаю голову и щурюсь. Холодный свет электрических ламп сверху неприятно режет глаза. Опускаю взгляд вниз – под ботинками гладкий как зеркало пол, без единой щербинки. И тут меня окончательно настигает смысл происходящего.

– Чего делать-то? Блин, Лёня! Опять двадцать пять! Ничего не меняется. Прямо как тогда с икрой... очередной чифилис!

– Какой еще чифилис? – в его голосе изумление. – А, ну да... Андрюха, ну сколько можно вспоминать! Щас надо думать, что делать, а не искать виноватых!

– Может, – говорю, – в туалет зайти и все в унитаз нафиг спустить, а?

Гвоздев вздыхает:

– Ну, это, короче, на крайняк. Хотя, если честно... не советую. Там у тебя много?

– Чего много?

– Чего – чего?! Ты достал... Товара! Свечей, короче, этих геморройных много?!

– Ну, так... прилично.

– Блин, геморрой-то какой... – в его голосе я различаю неуверенность. – Деньги-то ведь отдавать придется.

– С какой это стати?

ВНИМАНИЕ! СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ РЕЙС 104

АВИАКОМПАНИИ “ЛЮФТГАНЗА”.

МЮНХЕН – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

– Да с такой, что этим ребятам пофиг, что у тебя там случилось. Они все равно с тебя стрясут по полной... Короче, если впрягся отвозить – должен довести. Остальное – извини, твои проблемы.

Мне становится не по себе. Накатывает безволие, как в Хемпстеде, когда мы с Катей сидели за мусорками и тряслись от страха. В горле делается сухо, живот сводит змеиной судорогой, по спине опять рассыпаются мелкие градины озноба. Чертов Джек! Куда не кинь – тупик. Оставить чемодан нельзя. Забирать тоже нельзя – посадят. Господи! Надо было в Лондоне оставаться, с Катей. Чё делать-то?!

– Лучше, конечно, отдать деньги, чем садиться.

Мне вдруг начинает казаться, что я еще сплю в пассажирском кресле самолета, что все, что сейчас со мной происходит, – это не по-настоящему. Мимо один за другим продолжают идти пассажиры.

– Чё делать-то?!

– Во-первых, – говорит Гвоздев. – Давай без паники. Сейчас, короче, вот что... Проходи, короче, контроль, потом – давай за багажом, только сразу, короче, чемодан не хватай, слышишь? Потрись там, понаблюдай. Короче, присмотрись к обстановке. Если что-то подозрительное – хватай чемодан, дуй в туалет и все, короче, спускай в канализацию. Понял?

“Чего уж тут непонятного? Канализация все спишет. Канализация – царица всех морей, канализация – купайтесь только в ней...” Даю отбой, поправляю рюкзак и иду по разукрашенному рекламой коридору, потом через холл вперед, туда, где стоит длинная очередь в паспортный контроль. Может, все обойдется?

В небольшом зале, где пассажиры забирают свой багаж, толкотня, как в торговом центре. И физиономии здесь у всех кажутся торговыми, хищно

вожделирующими финансового чуда, словно им передалось настроение места. Пассажиры обступили ленту, широкую, черную, змеящуюся вдоль металлических бортиков, будто они рыбаки, а это – река. По черной ленте из темноты, из пыльной утробы аэропорта, подобно пароходам и баржам, вот-вот поплывут вернувшиеся с неба чемоданы, спортивные сумки, коробки. Среди публики начнется воодушевление. Все станут пристально разглядывать багаж, вылавливать его, как морскую добычу, стаскивать на пол, переворачивать, браконьерски осматривать с разных сторон.

Вещи начинают появляться. Чемоданы, сумки, на все вкусы: красные, черные, лиловые, матерчатые, кожаные, пластиковые. Некоторые выглядят пожившими, потасканными, порочными; они полураскрыты, будто полуодеты; другие, напротив, похожи на невинных новорожденных и запеленуты несколькими слоями полиэтилена. Резко вздрагиваю, будто от сильного укуса. Вот он, мой чемоданчик. Зеленый, слегка обшарпанный, округлившийся от напиханных в него вещей и весь в наклейках. Отвожу взгляд. А чемоданчик продолжает ехать на меня, тихо, угрожающе, неповоротливо, как крейсер, как строгий и тучный профессор Рейсер, обнаруживший в коридоре института студента-прогульщика. В голове вдруг ни с того ни с сего начинает звенеть блатная мелодия “А поезд тихо ехал на Бердичев”.

ВНИМАНИЕ! СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ РЕЙС 368

АВИАКОМПАНИИ “КЭЙЛЭМ”.

АМСТЕРДАМ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Оглядываюсь по сторонам. Лица пассажиров, выуживающих свой багаж, по-прежнему сосредоточены. Кажется, до меня никому нет дела. Зал тесный, совсем не тот, что в Лондоне. Вдоль стен – двери, наверное, в подсобные помещения. Мне кажется, они никогда не отпираются. Не буду сразу забирать чемодан – пусть пока покатается. “А у окна стоял мой чемоданчик!” Зал тем временем пустеет, пассажиры разбредаются. Мой чемодан заходит, наверное, уже на пятый круг, а я все не решаюсь подойти и забрать его. С ленты постепенно исчезают вещи. С каждым исчезновением я чувствую, что мой пульс учащается. Теперь я начинаю понимать, что переживает преступник, когда круг

подозреваемых сужается. “А ну-ка убери свой чемоданчик!” И главное – я один и не с кем посоветоваться. Хотя... вроде бы вокруг ничего подозрительного. Я набираюсь смелости, стаскиваю с ленты свой чемодан и ставлю его на пол. Слава богу! Хотя бы полдела уже сделано. Теперь надо...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Пожалуйста, не кормите и не трогайте пеликанов (англ.).

2

Привет, чувак! (англ.)

3

Новая жизнь (итал.).

4

Нелюдимо и пустынно море (нем.).

5

Примиритесь с Богом! (англ.)

6

Вот, можете забрать. Мы готовы заплатить за ущерб (англ.).

7

Вы откуда? (англ.)

8

У вас все в порядке? (англ.)

Купить: <https://telnovel.com/andrey-astvacaturov/ne-kormite-i-ne-trogayte-pelikanov>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)